

ИСТОРИЧЕСКИЙ СМЫСЛ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КРИЗИСА

Методологическое исследование

Камень, который презрели строители,
стал во главу угла...

1

В последнее время все чаще раздаются голоса, выдвигающие проблему общей психологии как проблему первостепенной важности. Мнение это, что самое замечательное, исходит не от философов, для которых обобщение сделалось профессиональной привычкой; даже, не от теоретиков-психологов, но от психологов-практиков, разрабатывающих специальные области прикладной психологии, от психиатров и психотехников, представителей наиболее точной и конкретной части нашей науки. Очевидно, отдельные психологические дисциплины в развитии исследования, накопления фактического материала, систематизации знания и в формулировке основных положений и законов дошли до некоторого поворотного пункта. Дальнейшее продвижение по прямой линии, простое продолжение все той же работы, постепенное накопление материала оказываются уже бесплодными или даже невозможными. Чтобы идти дальше, надо наметить путь.

Из такого методологического кризиса, из осознанной потребности отдельных дисциплин в руководстве, из необходимости — на известной ступени знания — критически согласовать разнородные данные, привести в систему разрозненные законы, осмыслить и проверить результаты, прочистить методы и основные понятия, заложить фундаментальные принципы, одним словом, свести начала и концы знания, — из всего этого и рождается общая наука.

Понятие общей психологии поэтому вовсе не совпадает с понятием основной, центральной для ряда отдельных, специальных дисциплин теоретической психологии. Эту последнюю, в сущности, психологию взрослого нормального человека, следовало бы рассматривать как одну из специальных дисциплин наряду с зоопсихологией и психопатологией. То, что она играла и до сих пор отчасти продолжает играть роль какого-то обобщающего фактора, формирующего до известной степени строй и систему специальных дисциплин, снабжающего их основными понятиями, приводящего их в соответствие с собственной структурой, объясняется историей развития науки, но не логической необходимостью. Так на деле было, отчасти есть и сейчас, но так вовсе не должно быть и не будет, потому что это не вытекает из самой природы науки, а обусловлено внешними, посторонними обстоятельствами; стоит им измениться, как психология нормального человека утратит руководящую роль. На наших глазах это начинает отчасти сбываться. В психологических систе-

292

мах, культивирующих понятие бессознательного, роль такой руководящей дисциплины, основные понятия которой служат исходными пунктами для родственных наук, играет патопсихология. Таковы, например, системы З. Фрейда, А. Адлера² и Э. Кречмера.

У последнего эта определяющая роль патопсихологии связана уже не с центральным понятием бессознательного, как у Фрейда и Адлера, т. е. не с фактическим приоритетом данной дисциплины в смысле разработки основной идеи, а с принципиально методологическим воззрением, согласно которому сущность и природа изучаемых психологией явлений раскрываются в наиболее чистом виде в их крайних, патологических выражениях. Следовательно, надо идти от патологии к норме, из патологии объяснять и понимать нормального человека, а не наоборот, как это делалось до сих пор. Ключ к психологии — в патологии; не потому только, что последняя нащупала и изучила раньше других корень психики, но потому, что такова внутренняя природа вещей и обусловленная ею природа научного знания об этих вещах. Если для традиционной психологии всякий психопат есть как предмет изучения более или менее — в различной степени — нормальный человек и должен определяться по отношению к последнему, то для новых систем всякий нормальный человек есть более или менее сумасшедший и должен психологически пониматься именно как вариант того или иного

патологического типа. Проще говоря, в одних системах нормальный человек рассматривается как тип, а патологическая личность — как разновидность или вариант основного типа; в других, наоборот, патологическое явление берется за тип, а нормальное — за ту или иную его разновидность. И кто может предсказать, как решит этот спор будущая общая психология?

Из таких же двойственных — наполовину фактических, наполовину принципиальных — мотивов главенствующая роль в третьих системах отводится зоопсихологии. Таковы, например, в своем большинстве американские курсы психологии поведения и русские курсы рефлексологии, развивающие всю систему из понятия условного рефлекса и группирующие вокруг него весь материал. Помимо фактического приоритета в разработке основных понятий поведения зоопсихология принципиально выдвигается рядом авторов как общая дисциплина, с которой должны быть соотнесены другие дисциплины. То, что она является логическим началом науки о поведении, отправной точкой для всякого генетического рассмотрения и объяснения психики, то, что она есть чисто биологическая наука, обязывает именно ее выработать фундаментальные понятия науки и снабдить ими соседние дисциплины.

Таков, например, взгляд И. П. Павлова. То, что делают психологи, по его мнению, не может отразиться на зоопсихологии, но то, что делают зоопсихологи, весьма существенно определяет работу психологов; те строят надстройку, а здесь закладывается фунда-

293

мент (1950). И на деле источником, откуда мы черпаем теперь все основные категории для исследования и описания поведения, инстанцией, с которой мы сверяем наши результаты, образцом, по которому мы выравниваем наши методы, является зоопсихология.

Дело опять приняло как раз обратный порядок по сравнению с традиционной психологией. В ней отправной точкой был человек; мы исходили из человека, чтобы составить себе представление о психике животного; мы по аналогии с собой толковали проявления его души. При этом дело отнюдь не всегда сводилось к грубому антропоморфизму; часто серьезные методологические основания диктовали такой ход исследования: субъективная психология и не могла быть иной. Она в психологии человека видела ключ к психологии животных, в высших формах — ключ к пониманию низших. Не всегда ведь исследователь должен идти тем же путем, каким шла природа, часто выгоднее путь обратный.

Так, Маркс указывал на этот методологический принцип «обратного» метода, когда утверждал, что «анатомия человека — ключ к анатомии обезьяны» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 46, ч. I, с. 42). «Намеки же на более высокое у низших видов животных могут быть поняты только в том случае, если само это более высокое уже известно. Буржуазная экономика дает нам, таким образом, ключ к античной и т.д. Однако вовсе не в том смысле, как это понимают экономисты, которые смазывают все исторические различия и во всех формах общества видят формы буржуазные. Можно понять оброк, десятину и т. д., если известна земельная рента, однако нельзя их отождествлять с последней» (там же).

Понять оброк, исходя из ренты, феодальную форму из буржуазной — это и есть тот же самый методологический прием, посредством которого мы постигаем и определяем мышление и начатки речи у животных, исходя из развитого мышления и речи человека. Понять до конца какой-нибудь этап в процессе развития и самый процесс можно, только зная конец процесса, результат, направление, куда и во что развивалась данная форма. При этом речь идет, конечно, только о методологическом перенесении основных категорий и понятий от высшего к низшему, а отнюдь не о перенесении фактических наблюдений и обобщений. Например, понятия о социальной категории класса и классовой борьбе открываются в наиболее чистой форме при анализе капиталистического строя, но эти же понятия являются ключом ко всем докапиталистическим формациям общества, хотя мы встречаемся там всякий раз с другими классами, с другой формой борьбы, с особой стадией развития этой категории. Но все эти особенности, отличая от капиталистических форм историческое своеобразие отдельных эпох, не только не стираются, но, напротив, впервые становятся доступными изучению только тогда, когда мы подходим к ним с категориями и понятиями, полученными из анализа другой, высшей формации.

«Буржуазное общество,— поясняет Маркс,— есть наиболее развитая и наиболее многообразная историческая организация производства. Поэтому категории, выражающие его отношения, понимание его структуры, дают вместе с тем возможность заглянуть в структуру и производственные отношения всех тех погибших форм общества, из обломков и элементов которых оно было построено. Некоторые еще не преодоленные остатки этих обломков и элементов продолжают влачить существование внутри буржуазного общества, а то, что в прежних формах общества имелось лишь в виде намека, развилось здесь до полного значения и т. д.» (там же). Имея конец пути, можно легче всего понять и весь путь в целом, и смысл отдельных этапов.

Таков один из возможных методологических путей, достаточно оправдавший себя в целом ряде наук. Приложим ли он к психологии? Но Павлов именно с методологической точки зрения отрицает путь от человека к животному; не фактическое различие в явлениях, а познавательная бесплодность и неприменимость психологических категорий и понятий является причиной того, что он защищает обратный «обратному», т. е. прямой путь исследования, повторяющий путь, которым шла природа. По его словам, «нельзя с психологическими понятиями, которые по существу дела непространственны, проникнуть в механизм поведения животных, в механизм этих отношений» (1950, с. 207).

Дело, следовательно, не в фактах, а в понятиях, т. е. в способе мыслить эти факты. «Наши факты мыслятся в форме пространства и времени; у нас это совершенно естественнонаучные факты; психологические же факты мыслятся только в форме времени»,— говорит он (там же, с. 104). Что речь идет именно о разнице в понятиях, а не в явлениях и что Павлов хочет не только отвоевать независимость для своей области исследования, но и распространить ее влияние и руководство на все сферы психологического знания, видно из его прямых указаний на то, что спор идет не только об эмансипации от власти психологических понятий, но и о разработке психологии при помощи новых пространственных понятий.

По его мнению, наука перенесет раньше или позже объективные данные на психику человека, «руководясь подобием или тождеством внешних проявлений», и объяснит природу и механизм сознания (там же, с. 23). Его путь — от простого к сложному, от животного к человеку. «Простое, элементарное,— говорит он,— понятно без сложного, тогда как сложное без элементарного уяснить невозможно». Из этих данных составится «основной фундамент психологического знания» (там же, с. 105). И в предисловии к книге, излагающей 20-летний опыт изучения поведения животных, Павлов заявляет, что он «глубоко, бесповоротно и неискоренимо убежден, что здесь, главнейшим образом на этом пути», удастся «познать механизм и законы человеческой природы» (там же, с. 17).

Вот новая контроверза между изучением животных и психологией человека. Положение, по существу, очень сходное с контроверзой между патопсихологией и психологией нормального человека. Какой дисциплине главенствовать, объединять, вырабатывать основные понятия, принципы и методы, сверять и систематизировать данные всех других областей? Если раньше традиционная психология рассматривала животное как более или менее отдаленного предка человека, то теперь рефлексология склонна рассматривать человека как «животное двуногое, без перьев», по Платону. Прежде психика животного определялась и описывалась в понятиях и терминах, добытых в исследовании человека, ныне поведение животных дает «ключ к пониманию поведения человека», а то, что мы называем «человеческим» поведением, понимается только как производная от ходящего в выпрямленном положении и потому говорящего и обладающего руками с развитым большим пальцем животного.

И опять мы можем спросить: кто, кроме будущей общей психологии, разрешит эту контроверзу между животными и человеком в психологии, контроверзу, от решения которой зависит ни много¹ ни мало: вся будущая судьба этой науки?

Уже из анализа трех типов психологических систем, рассмотренных выше, видно, до какой степени созрела потребность в общей психологии, а отчасти наметились границы и

приблизительное содержание этого понятия. Таков будет все время путь нашего исследования: мы будем исходить из анализа фактов, хотя бы фактов в высшей степени общего порядка и отвлеченного характера, как та или иная психологическая система и ее тип, тенденции и судьба различных теорий, те или иные познавательные приемы, научные классификации и схемы и т. д. При этом мы подвергаем их рассмотрению не с абстрактно-логической, чисто философской стороны, а как определенные факты в истории науки, как конкретные, живые исторические события в их тенденции, противоборстве, в их реальной обусловленности, конечно, и в их познавательно-теоретической сущности, т. е. с точки зрения их соответствия той действительности, для познания которой они предназначены. Не путем отвлеченных рассуждений, но путем анализа научной действительности хотим мы прийти к ясному представлению о сущности индивидуальной и социальной психологии как двух аспектов одной науки и об исторической судьбе их. Отсюда выводится, как политиком из анализа события, правило для действия, для организации научного исследования, методологическое исследование, пользующееся историческим рассмотрением конкретных форм науки и теоретическим анализом этих форм, чтобы прийти к обобщенным, проверенным и годным для руководства принципам,— таково, по нашему мнению,

296

зерно той общей психологии, понятие о которой мы пытаемся выяснить в этой главе.

Первое, что мы узнаем из анализа,— это разграничение между общей психологией и теоретической психологией нормального человека. Мы видели, что последняя — не обязательно общая психология, что в целом ряде систем она сама превращается в одну из специальных, определяемых другой областью дисциплин; что в роли общей психологии могут выступать и выступают и патопсихология, и учение о поведении животных. А. И. Введенский полагал, что общую психологию «гораздо вернее было бы называть основной психологией, потому что эта часть лежит в основе всей психологии» (1917, с. 5). Г. Геффдинг, полагаящий, что психологией «можно заниматься многими способами и методами», что «существует не одна, но много психологии», не видящий необходимости в единстве, все же склонен видеть в субъективной психологии «основу, вокруг которой, как вокруг центра, должны быть собраны богатства других источников познания» (1908, с. 30). Говорить об основной, или центральной, психологии было бы, действительно, в данном случае уместнее, чем об общей, хотя нужно немало школьного догматизма и наивной самоуверенности, чтобы не видеть, как нарождаются системы с совершенно другой основой и центром и как в таких системах отходит к периферии то, что профессора считали основой по самой природе вещей. Субъективная психология была основной, или центральной, в целом ряде систем, и надо уяснить себе смысл этого; она теперь утрачивает свое значение, и опять надо уяснить себе смысл этого. Терминологически было бы всего правильнее говорить в данном случае о теоретической психологии, в отличие от прикладной, как это делает Г. Мюнстерберг (1922). Применительно к взрослому нормальному человеку она была бы специальной ветвью наряду с детской, зоо- и патопсихологией.

Теоретическая психология, замечает Л. Бинсвангер³, не есть ни общая психология, ни часть ее, но сама есть объект или предмет общей психологии. Последняя задается вопросами, как вообще возможна теоретическая психология, каковы структура и пригодность ее понятий. Теоретическая психология уже потому не может быть идентифицирована с общей, что как раз вопрос о создании теорий в психологии есть основной вопрос общей психологии (1922, с. 5).

Второе, что мы можем узнать из нашего анализа с достоверностью: самый факт, что теоретическая психология, а после другие дисциплины выступали в роли общей науки, обусловлен, с одной стороны, отсутствием общей психологии, а с другой — сильной потребностью в ней и необходимостью временно выполнять ее функции, чтобы сделать возможным научное исследование. Психология беременна общей дисциплиной, но еще не родила ее.

Третье, что мы можем вычитать из нашего анализа,— это различие двух фаз в развитии всякой общей науки, всякой общей

297

дисциплины, как показывает история науки и методология. В первой фазе развития общая дисциплина отличается от специальной чисто количественным признаком. Такое различие, как верно говорит Бинсвангер, свойственно большинству наук. Так, мы различаем общую и специальную ботанику, зоологию, биологию, физиологию, патологию, психиатрию и т. д. Общая дисциплина делает предмет своего изучения то общее, что присуще всем объектам данной науки. Специальная — то, что свойственно отдельным группам или даже отдельным экземплярам из того же рода объектов. В этом смысле присваивали имя специальной той дисциплине, которую мы называем теперь дифференциальной; в таком же смысле называли эту область индивидуальной психологией. Общая часть ботаники или зоологии изучает то, что есть общего у всех растений или животных, психологии — то, что свойственно всем людям; для этого из реального многообразия данных явлений абстрагировалось понятие той или иной общей черты, присущей им всем или большинству из них, и в отвлеченном от реального многообразия конкретных черт виде оно становилось предметом изучения общей дисциплины. Поэтому признак и задачу такой дисциплины видели в том, чтобы научно представить факты, которые общи наибольшему числу частных явлений данной области (Л. Бинсвангер, 1922, с. 3).

Эту стадию поисков и попытки применения общего всем психологическим дисциплинам абстрактного понятия, составляющего предмет всех их и определяющего, что следует выделять в хаосе отдельных явлений, что имеет для психологии познавательную ценность в явлении,— эту стадию мы видим ярко выраженной в нашем анализе и можем судить, какое значение эти поиски и искомое понятие предмета психологии, искомый ответ на вопрос, что изучает психология, могут иметь для нашей науки в данный исторический момент ее развития.

Всякое конкретное явление совершенно неисчерпаемо и бесконечно по своим отдельным признакам; надо всегда искать в явлении то, что делает его научным фактом. Это именно отличает наблюдение солнечного затмения астрономом от наблюдения этого же явления просто любопытным. Первый выделяет в явлении то, что делает его астрономическим фактом; второй наблюдает случайные, попадающие в поле его внимания признаки.

Что же наиболее общего у всех явлений, изучаемых психологией, что делает психологическими фактами самые разнообразные явления — от выделения слюны у собаки и до наслаждения трагедией, что есть общего в бреде сумасшедшего и строжайших выкладках математика? Традиционная психология отвечает: общее то, что все это суть психологические явления, непространственные и доступные только восприятию самого переживающего субъекта. Рефлексология отвечает: общее то, что все эти явления суть факты поведения, соотносительной деятельности, рефлекссы, ответные действия

298

организма. Психоаналитики говорят: общее у всех этих фактов, самое первичное, что их объединяет,— это бессознательное, лежащее в их основе. Три ответа соответственно означают для общей психологии, что она есть наука 1) о психическом и его свойствах, или 2) о поведении, или 3) о бессознательном.

Отсюда видно значение такого общего понятия для всей будущей судьбы науки. Любой факт, выраженный в понятиях каждой из этих трех систем поочередно, примет три совершенно различные формы; вернее, это будут три различные стороны одного факта; еще вернее, это будут три различных факта. И по мере продвижения науки, по мере накопления фактов, мы получим последовательно три различных обобщения, три различных закона, три различные классификации, три различные системы — три отдельные науки, которые будут тем дальше от общего, объединяющего их факта и тем более далеки и различны друг от друга, чем успешнее они будут развиваться. Скоро после возникновения они уже будут вынуждены подбирать различные факты, и уже самый выбор фактов в дальнейшем определит судьбу науки. К. Коффка был первый, кто высказал мысль, что интроспективная психология и психология поведения разовьются, если дело пойдет дальше так, в две науки. Пути обеих наук так далеки друг от друга, что «никак нельзя сказать с уверенностью, приведут ли они действительно к одной цели» (К. Коффка, 1926, с. 179).

В сущности, и Павлов и Бехтерев держатся того же мнения; для них приемлема мысль о параллельном существовании двух наук — психологии и рефлексологии, изучающих одно и то же,

но с разных сторон. «Я не отрицаю психологии как познания внутреннего мира человека»,— говорит Павлов по этому поводу (1950, с. 125). Для Бехтерева рефлексология не противопоставляется субъективной психологии и ничуть не исключает последнюю, а отмежевывает особую область исследования, т. е. создает новую параллельную науку. Он же говорит о тесном взаимоотношении одной и другой научной дисциплины или даже о субъективной рефлексологии, которая неизбежно возникнет в будущем (1923). Впрочем, надо сказать, что и Павлов и Бехтерев на деле отрицают психологию и всецело надеются охватить объективным методом всю область знания о человеке, т. е. видят возможность только одной науки, хотя на словах признают и две. Так общее понятие предопределяет содержание науки.

Уже сейчас психоанализ, бихевиоризм и субъективная психология оперируют не только разными понятиями, но и разными фактами. Такие несомненные, реальнейшие, общие всем факты, как эдипов комплекс психоаналитиков, просто не существуют для других психологов, для многих это самая дикая фантазия. Для В. Штерна, в общем благосклонно относящегося к психоанализу, психоаналитические толкования, столь же обыденные в школе З. Фрейда.

299

и столь же несомненные, как измерение температуры в госпитале, а значит, и факты, существование которых они утверждают, напоминают хиромантию и астрологию XVI в. Для Павлова утверждение, что собака вспомнила пищу при звонке, есть тоже не больше чем фантазия. Так же для интроспективиста не существует факта мышечных движений в акте мышления, как то утверждает бихевиорист.

Но фундаментальное понятие, так сказать, первичная абстракция, лежащая в основе науки, определяет не только содержание, но и предопределяет характер единства отдельных дисциплин, а через это — способ объяснения фактов, главный объяснительный принцип науки,

Мы видим, что общая наука, как и тенденция отдельных дисциплин превратиться в общую науку и распространить влияние на соседние отрасли знания, возникает из потребности в объединении разнородных отраслей знания. Когда сходные дисциплины накапливают достаточно большой материал в сравнительно отдаленных друг от друга областях, возникает надобность свести весь разнородный материал в единство, установить и определить отношение между отдельными областями и между каждой областью и целым научного знания. Как связать материал патологии, зоопсихологии, социальной психологии? Мы видели, что субстратом единства является прежде всего первичная абстракция. Но объединение разнородного материала производится не суммарно, не через союз «и», как говорят гештальтпсихологи, не путем простого присоединения или сложения частей, так что каждая часть сохраняет равновесие и самостоятельность, входя в состав нового целого. Единство достигается путем подчинения, господства, путем отказа отдельных дисциплин от суверенитета в пользу одной общей науки. Внутри нового целого образуется не сосуществование отдельных дисциплин, но их иерархическая система, имеющая главный и вторичные центры, как Солнечная система. Итак, это единство определяет роль, смысл, значение каждой отдельной области, т. е. определяет не только содержание, но и способ объяснения, главнейшее обобщение, которое в развитии науки станет со временем объяснительным принципом.

Принять за первичное понятие психику, бессознательное, поведение — значит не только собирать три разные категории фактов, но и давать три разных способа объяснения этих фактов.

Мы видим, что тенденция к обобщению и объединению знания переходит, перерастает в тенденцию к объяснению знания. Единство обобщающего понятия перерастает в единство объяснительного принципа, потому что объяснять — значит устанавливать связь между одним фактом или группой фактов и другой группой, ссылаться на другой ряд явлений, объяснять — значит для науки — причинно объяснять. Пока объединение производится внутри одной дисциплины, такое объяснение устанавливается путем причинной

300

связи явлений, лежащих внутри одной области. Но как только мы переходим к обобщению отдельных дисциплин, к сведению в единство разных областей фактов, к обобщениям второго порядка, так сейчас же мы должны искать и объяснения более высокого порядка, т. е. связи всех

областей данного знания с фактами, лежащими вне их. Так поиски объяснительного принципа выводят нас за пределы данной науки и заставляют находить место данной области явлений в более обширном кругу явлений.

Эту вторую тенденцию, лежащую в основе выделения¹ общей науки, — тенденцию к единству объяснительного принципа и к выходу за пределы данной науки в поисках места данной категории бытия в общей системе бытия и данной науки в общей системе знания — мы обнаруживаем уже в соперничестве отдельных дисциплин за главенство. Всякое обобщающее понятие уже содержит в себе тенденцию к объяснительному принципу, а так как борьба дисциплин есть борьба за обобщающее понятие, то неизбежно здесь должна появиться и вторая тенденция. И действительно, рефлексология не только выдвигает понятие поведения, но и принцип условного рефлекса, т. е. объяснения поведения из внешнего опыта животного. И трудно сказать, какая из этих двух идей более существенна для данного направления. Отбросьте принцип — и вы получите поведение, т. е. систему внешних движений и поступков, объясняемую из сознания, т. е. давно существовавшую внутри субъективной психологии дисциплину. Отбросьте понятие и сохраните принцип — и вы получите сенсуалистическую ассоциативную психологию. И о той и о другой мы будем говорить ниже. Здесь же важно установить, что обобщение понятия и объяснительный принцип только в соединении друг с другом, только то и другое вместе определяют общую науку. Так же точно и психопатология не только выдвигает обобщающее понятие бессознательного, но и расшифровывает это понятие объяснительно — в принципе сексуальности. Обобщить психологические дисциплины и объединить их на основе понятия бессознательного — значит для психоанализа объяснить весь мир, изучаемый психологией, из сексуальности.

Но здесь еще обе тенденции — к объединению и обобщению — слиты, часто трудно различимы; вторая тенденция недостаточно ясно выражена; она может иногда и отсутствовать вовсе. Совпадение ее с первой объясняется опять-таки исторической, а не логической необходимостью. В борьбе отдельных дисциплин за господство эта тенденция обычно проявляется, мы нашли ее в нашем анализе; но она может не проявиться, а главное — она может проявиться и в чистом, несмешанном, раздельном от первой тенденции виде в другом ряде фактов. В обоих этих случаях мы имеем каждую тенденцию в чистом виде.

Так, в традиционной психологии понятие психического может объединяться с многими, правда, не в любыми, объяснениями:

301

ассоцианизм, актуалистическая концепция, теория способностей I и т. д. Так что связь между обобщением и объединением тесная, но не однозначная. Одно понятие мирится с рядом объяснений, и наоборот. Далее, в системах психологии бессознательного это основное понятие расшифровывается не обязательно как сексуальность. У А. Адлера и К. Юнга в основу объяснения положены другие принципы. Таким образом, в борьбе дисциплин логически необходимо выражена первая тенденция знания — к объединению и логически не необходимо, а только исторически обусловлено — в разной степени выражена и вторая. Поэтому легче и удобнее всего наблюдать вторую тенденцию в ее чистом виде — в борьбе принципов и школ внутри одной и той же дисциплины.

Можно сказать, что всякое сколько-нибудь значительное открытие в какой-либо области, выходящее за пределы этой частной сферы, обладает тенденцией превратиться в объяснительный принцип всех психологических явлений и вывести психологию за ее собственные пределы — в более широкие сферы знания. Эта тенденция проявляется в последние десятилетия в такой удивительной закономерностью, постоянством, с такой правильной однообразностью в самых различных областях, что положительно допускает предсказание о ходе развития того или иного понятия или открытия, той или иной идеи. Вместе с тем эта правильная повторяемость в развитии различнейших идей ясно говорит с очевидностью, которую редко приходится констатировать историку науки и методологу, об объективной необходимости, лежащей в основе развития науки, о необходимости, которую можно обнаружить, если к фактам науки подойти тоже с научной точки зрения. Это говорит о том, что возможна научная методология на

исторической основе.

Закономерность в смене и развитии идей, возникновение и гибель понятий, даже смена классификаций и т. п.— все это может быть научно объяснено на почве связи данной науки 1) с общей социально-культурной подпочвой эпохи, 2) с общими условиями и законами научного познания, 3) с теми объективными требованиями, которые предъявляет к научному познанию природа изучаемых явлений на данной стадии их исследования, т. е. в конечном счете — с требованиями объективной действительности, изучаемой данной наукой; ведь научное познание должно приспособляться, применяться к особенностям изучаемых фактов, должно строиться согласно их требованиям. И поэтому в изменении научного факта всегда можно вскрыть участие объективных фактов, изучаемых этой наукой. Все эти три точки зрения мы постараемся иметь в виду в нашем исследовании.

Общая судьба и линии развития таких объяснительных идей

302

могут быть выражены схематически. Вначале лежит какое-нибудь фактическое открытие более или менее крупного значения, перестраивающее обычное представление обо всей той области явлений, к которой оно относится, и даже выходящее за пределы данной частной группы явлений, где оно наблюдалось и было сформулировано.

Затем идет стадия распространения влияния тех же идей в соседние области, так сказать, растягивание идеи на более обширный материал, чем тот, который она охватывает. При этом изменяется и сама идея (или ее применение), появляется более отвлеченная ее формулировка; связь с породившим ее материалом более или менее ослабевает, и она только продолжает питать силу достоверности новой идеи, потому что свое завоевательное шествие идея совершает как научно проверенное, достоверное открытие; это очень важно.

В третьей стадии развития идея, уже овладевшая более или менее всей данной дисциплиной, в которой она впервые возникла, частью измененная этим, частью сама изменившая строй и объем дисциплины, отделенная от породивших ее фактов, существующая в форме более или менее абстрактно сформулированного принципа, попадает в сферу борьбы дисциплин за господство, т. е. в орбиту действия тенденции к объединению. Происходит это обычно потому, что идея, как объяснительный принцип, успела овладеть целой дисциплиной, т. е. приспособилась сама, а частью приспособила к себе понятие, лежащее в основе дисциплины, и теперь выступает с ним заодно. Таковую смешанную стадию существования идеи, когда обе тенденции помогают одна другой, мы и нашли в нашем анализе. Продолжая расширяться на спине тенденции к объединению, идея легко переносится в соседние дисциплины, не прекращая видоизменяться сама, разбухая от нового и нового материала, но видоизменяет и те области, куда проникает. В этой стадии судьба идеи всецело связана с судьбой представляющей ее дисциплины, борющейся за господство.

В четвертой стадии идея опять отделяется от основного понятия, так как самый факт завоевания — хотя бы в виде проекта, защищаемого отдельной школой, всей сферы психологического знания, всех дисциплин,— самый факт этот толкает идею в развитии дальше. Идея остается объяснительным принципом до тех пор, пока она выходит за пределы основного понятия; ведь объяснить, как мы видели, это и значит выходить за собственные границы в поисках внешней причины. Как только она вполне совпадает с основным понятием, она перестает что-либо объяснять. Но основное понятие логически не может развиваться дальше, иначе оно стало бы отрицать само себя; ведь его смысл в том, чтобы определить область психологического знания; выйти за его пределы оно не может по самому существу. Следовательно, опять должно произойти разъединение понятия и объяснения. К тому же самое объединение логически предполагает, как показано выше, установление связи с более об-

303

ширной сферой знания, выход за собственные пределы. Это и совершает идея, отделившаяся от понятия. Теперь она связывает психологию с обширными областями, лежащими вне ее, с биологией, физикохимией, механикой, в то время как основное понятие выделяет ее из этих областей. Функции этих временно работавших вместе союзников опять переменялись. Идея теперь открыто включается в ту или иную философскую систему, распространяется, изменяясь и

изменяя, на самые отдаленные сферы бытия, на весь мир, и формулируется в качестве универсального принципа или даже целого мировоззрения.

Это открытие, раздувшееся до мировоззрения, как лягушка, раздувшаяся в вола, этот мещанин во дворянстве, попадает в самую опасную пятую стадию развития: оно легко лопается, как мыльный пузырь; во всяком случае оно вступает в стадию борьбы и отрицания, которые оно встречает теперь со всех сторон. Правда, борьба велась против идеи и раньше, в прежних стадиях. Но то было нормальное противодействие движению идеи, сопротивление каждой отдельной области ее завоевательным тенденциям. Первоначальная сила породившего ее открытия оберегала ее от настоящей борьбы за существование, как мать оберегает детеныша. Только теперь, отделенная совершенно от породивших ее фактов, развившись до логических пределов, доведенная до последних выводов, обобщенная сколько возможно, идея, наконец, обнаруживает то, что она в действительности есть, показывает свое истинное лицо. Как это ни странно, но именно доведенная до философской формы, казалось бы, затуманенная многими наслоениями и очень далекая от непосредственных корней и породивших ее социальных причин, идея на самом деле только теперь открывает, чего она хочет, что она есть, из каких социальных тенденций она возникла, каким классовым интересам служит. Только развившись в мировоззрение или приобретя связь с ним, частная идея из научного факта опять становится фактом социальной жизни, т. е. возвращается в то лоно, из которого она возникла. Только став снова частью социальной жизни, она обнаруживает свою социальную природу, которая все время, конечно, имела в ней, но была скрыта под маской познавательного факта, в качестве которого она фигурировала.

И вот в этой стадии борьбы против идеи судьба ее определяется примерно так. Новой идее, как новому дворянину, указывают на ее мещанское, т. е. действительное, происхождение. Ее ограничивают теми областями, откуда она пришла; ее заставляют проделать вспять свое развитие; ее признают как частное открытие, но отвергают как мировоззрение; и теперь выдвигаются новые способы осмыслить ее как частное открытие и связанные с ней факты. Иначе говоря, другие мировоззрения, представляющие другие социальные тенденции и силы, отвоевывают у идеи даже ее первоначальную область, вырабатывают свой взгляд на нее — и тогда идея или от-

мирает, или продолжает существовать, более или менее плотно включенная в то или иное мировоззрение среди ряда других мировоззрений, разделяя их судьбу и выполняя их функции, но как революционизирующая наука идея она перестает существовать; это идея, вышедшая в отставку и получившая по своему ведомству генеральский чин.

Почему идея перестает существовать как таковая? Потому что в области мировоззрения действует закон, открытый Энгельсом, закон собирания идей вокруг двух полюсов — идеализма и материализма, соответствующих двум полюсам социальной жизни, двум борющимся основным классам. Идея как факт философский гораздо легче обнаруживает свою социальную природу, чем как факт научный; и на этом кончается ее роль — скрытого, переодетого в научный факт идеологического агента, она разоблачена и начинает участвовать как слагаемое в общей открытой, классовой борьбе идей; но именно здесь, как маленькое слагаемое в огромной сумме, она тонет, как капля дождя в океане, и перестает существовать сама посева.

Такой путь проделывает всякое открытие в психологии, имеющее тенденцию превратиться в объяснительный принцип. Само возникновение таких идей объясняется наличием объективной научной потребности, коренящейся в конечном счете в природе изучаемых явлений, как она раскрывается на данной стадии познания, иначе говоря, природой науки и, значит, в конечном счете природой психологической действительности, которую изучает эта наука. Но история науки может объяснить только, почему на данной стадии ее развития возникла потребность в идеях, почему это было невозможно сто лет тому назад, — и не больше. Какие именно открытия развиваются в мировоззрение, а какие нет; какие идеи выдвигаются, какой путь они проделывают,

какая участь постигает их — это все зависит от факторов, лежащих вне истории науки и определяющих самую эту историю.

Это можно сравнить с учением Г. В. Плеханова об искусстве. Природа заложила в человеке эстетическую потребность, она делает возможным то, чтобы у него были эстетические идеи, вкусы, переживания. Но какие именно вкусы, идеи и переживания будут у данного общественного человека в данную историческую эпоху — этого нельзя вывести из природы человека, и ответ на это дает только материалистическое понимание истории (Г. В. Плеханов, 1922). В сущности, это рассуждение не является даже сравнением; оно не метафорически, но буквально принадлежит к тому же общему закону, частное применение которого сделано Плехановым к вопросам искусства. В самом деле, научное познание есть один из видов дея-

305

тельности общественного человека в ряду других деятельностей. Следовательно, научное познание, рассматриваемое со стороны познания природы, а не как идеология, есть известный вид труда, и, как всякий труд, прежде всего процесс между человеком и природой, в котором человек сам противостоит природе, как сила природы, процесс, в первую очередь обусловленный свойствами обрабатываемой природы и свойствами обрабатывающей силы природы, т. е. в данном случае — природой психологических явлений и познавательных условий человека (Г. В. Плеханов, 1922а). Именно как природные, т. е. неизменные, эти свойства не могут объяснить развития, движения, изменения истории науки. Это принадлежит к числу общеизвестных истин. Тем не менее на всякой стадии развития науки мы можем выделить, отдифференцировать, абстрагировать требования, выдвигаемые самой природой изучаемых явлений на данной ступени их познания, ступени, определяемой, конечно, не природой явлений, но историей человека. Именно потому, что природные свойства психических явлений на данной ступени познания есть чисто историческая категория, ибо свойства меняются в процессе познания, и сумма известных свойств есть чисто историческая величина, их можно рассматривать как причину или одну из причин исторического развития науки.

Мы рассмотрим в качестве примера к только что описанной схеме развития общих идей в психологии судьбу четырех идей, влиятельных в последние десятилетия. При этом нас интересует только факт, делающий возможным возникновение этих идей, а не эти идеи сами по себе, т. е. факт, коренящийся в истории науки, а не вне ее. Мы не будем исследовать, почему именно эти идеи, именно история этих идей важна как симптом, как указание на то состояние, которое переживает история науки. Нас интересует сейчас не исторический, но методологический вопрос: в какой степени раскрыты и познаны сейчас психологические факты и каких изменений в строе науки они требуют, чтобы сделать возможным продолжение познания на основе познанного уже? Судьба четырех идей должна свидетельствовать о потребности науки в данный момент — о содержании и размерах этой потребности. История науки для нас важна постольку, поскольку она определяет степень познания психологических фактов.

Четыре идеи — это идея психоанализа, рефлексологии, гештальтпсихологии и персонализма.

Идеи психоанализа родились из частных открытий в области неврозов; был с несомненностью установлен факт подсознательной определяемое™ ряда психических явлений и факт скрытой сексуальности в ряде деятельностей и форм, которые до того не относились к области эротических. Постепенно это частное открытие, подтвержденное успехом терапевтического воздействия, обоснованного таким пониманием дела, т. е. получившее санкцию истинности их

306

практики, было перенесено на ряд соседних областей — на психопатологию обыденной жизни, на детскую психологию, овладело всей областью учения о неврозах. В борьбе дисциплин эта идея подчинила себе самые отдаленные ветви психологии; было показано, что с этой идеей в руках можно разрабатывать психологию искусства, этническую психологию. Но вместе с этим психоанализ вышел за пределы психологии: сексуальность превратилась в метафизический принцип в ряду других метафизических идей, психоанализ — в мировоззрение, психология — в метапсихологию. У психоанализа есть своя теория познания и своя метафизика, своя социология и своя математика. Коммунизм и тотем,⁸ церковь и творчество Достоевского, оккультизм и

реклама, миф и изобретения Леонардо да Винчи⁹ — все это переодетый и замаскированный пол, секс, и ничего больше.

Такой же путь проделала идея условного рефлекса. Все знают, что она возникла из изучения психического слюноотделения у собаки. Но вот она распространилась и на ряд других явлений; вот она завоевала зоопсихологию; вот в системе Бехтерева она только и делает, что прикладывается, примеряется ко всем сферам психологии и подчиняет их себе; все — и сон, и мысль, и работа, и творчество — оказывается рефлексом. Вот, наконец, она подчинила себе все психологические дисциплины — коллективную психологию искусства, психотехнику и педологию, психопатологию и даже субъективную психологию. И теперь рефлексология уже знает только с универсальными принципами, с мировыми законами, с первоосновами механики. Как психоанализ перерос в метапсихологию через биологию, так рефлексология через биологию перерастает в энергетическое мировоззрение. Оглавление курса рефлексологии — это универсальный каталог мировых законов. И опять, как с психоанализом, оказалось, что все в мире — рефлекс. Анна Каренина и клептомания, классовая борьба и пейзаж, язык и сновидение — тоже рефлекс (В. М. Бехтерев, 1921, 1923).

Гештальтпсихология тоже возникла первоначально из конкретных психологических исследований процессов восприятия формы; здесь она получила практическое крещение; она выдержала пробу на истину. Но, так как она родилась в то же время, что психоанализ и рефлексология, она проделала их путь с удивительным однообразием. Она охватила зоопсихологию — и оказалось, что мышление у обезьян тоже гештальтпроцесс; психологию искусства и этническую — оказалось, что первобытное миропредставление и создание искусства тоже гештальт; детскую психологию и психопатологию — и под гештальт подошли и развитие ребенка, и психическая болезнь. Наконец, превратившись в мировоззрение, гештальтпсихология открыла гештальт в физике и химии, в физиологии и биологии, и гештальт, высохший до логической формулы, оказался в основе мира; создавая мир, бог сказал: да будет гештальт — и стал

307

везде гештальт (М. Вертгаймер, 1925; В. Келер, 1917, 1920; К. Коффка, 1925).

Наконец, персонализм возник первоначально из исследований по дифференциальной психологии¹⁰. Необычайно ценный принцип личности в учении о психологических измерениях, в учении о пригодности и т. д. перекочевал сперва в психологию во всем ее объеме, а потом и перешагнул за ее пределы. В виде критического персонализма он включил в понятие личности не только человека, но животных и растения. Еще один шаг, знакомый нам по истории психоанализа, рефлексологии, и все в мире оказалось личностью. Философия, которая начала с противопоставления личности и вещи, с отвоевания личности из-под власти вещей, кончила тем, что все вещи признала личностями. Вещей не оказалось вовсе. Вещь — это только часть личности: все равно нога человека или ножка стола; но так как эта часть опять состоит из частей и т. д. до бесконечности, то она — нога или ножка — опять оказывается личностью по отношению к своим частям и частью только по отношению к целому. Солнечная система и муравей, вагоновожатый и Гинденбург, стол и пантера — одинаково личности (В. Штерн, 1924).

Эти судьбы, схожие, как четыре капли одного и того же дождя, влекут идеи по одному и тому же пути. Объем понятия растет и стремится к бесконечности, по известному логическому закону содержание его столь же стремительно падает до нуля. Каждая из этих четырех идей на своем месте чрезвычайно содержательна, полна значения и смысла, полноценна и плодотворна. Но возведенные в ранг мировых законов, они стоят друг друга, они абсолютно равны между собой, как круглые и пустые нули; личность Штерна по Бехтереву есть комплекс рефлексов, по Вертгаймеру — гештальт, по Фрейду — сексуальность.

И в пятой стадии развития эти идеи встречают совершенно одинаковую критику, которую можно свести к одной формуле. Психоанализу говорят: для объяснения истерических неврозов принцип подсознательной сексуальности незаменим, но он ничего не объясняет ни в строении мира, ни в ходе истории. Рефлексологии говорят: нельзя делать логическую ошибку, рефлекс

— это только отдельная глава психологии, но не психология в целом и уж, конечно, не мир как целое (В. А. Вагнер, 1923; Л. С. Выготский, 1925а). Гештальтпсихологи говорят: вы нашли очень ценный принцип в своей области; но если мышление не содержит ничего, кроме моментов единства и цельности, т. е. гештальтформулы, а эта же формула выражает сущность всякого органического и даже физического процесса, то тогда, конечно, является картина мира поразительной законченности и простоты — электричество, сила тяготения и человеческое мышление подводятся под общий знаменатель. Нельзя бросать и мышление, и отношение в один горшок структур: пусть нам сначала докажут, что его место в одном горшке со структурны-

308

ми функциями. Новый фактор управляет обширной, но все-таки ограниченной областью. Но он не выдерживает критики как универсальный принцип. Пусть мышлению смелых теоретиков дан закон стремиться ко «всему или ничему» в попытках объяснения; осторожным же исследователям в виде мудрого противовеса приходится принимать во внимание упорство фактов. Ведь стремиться объяснить все и значит: не объяснить ничего.

Не показывает ли эта тенденция всякой новой идеи в психологии к превращениям в мировой закон, что психология действительно должна опереться на мировые законы, что все эти идеи ждут идею-хозяина, которая придет и поставит на место и укажет значение каждой отдельной, частной идеи. Закономерность того пути, который с удивительным постоянством проделывают, самые разные идеи, конечно, свидетельствует о том, что путь этот предопределен объективной потребностью в объяснительном принципе, и именно потому, что такой принцип нужен и что его нет, отдельные частные принципы занимают его место. Психология осознала, что для нее вопрос жизни и смерти — найти общий объяснительный принцип, и она хватается за всякую идею, хотя бы и недостоверную.

Спиноза в «Трактате об очищении интеллекта» описывает такое состояние познания. «Так больной, страдающий смертельной болезнью и предвидящий неизбежную смерть, если он не примет средства против нее, вынуждается искать этого средства с напряжением всех своих сил, хотя бы оно было и недостоверным, так как в нем лежит вся его надежда» (1914, с. 63).

Мы проследили на развитии частных открытий в общие принципы в чистом виде тенденцию к объяснению, которая наметилась уже в борьбе дисциплин за главенство. Но вместе с этим мы перешли уже во вторую фазу развития общей науки, о которой мы говорили вскользь выше. В первой фазе, определяемой тенденцией к обобщению, общая наука отличается от специальных в сущности количественным признаком; во второй фазе — господства тенденции к объяснению — общая наука уже качественно отличается по внутреннему строю от специальных дисциплин. Не все науки, как мы увидим, проделывают в развитии обе фазы; большинство выделяет общую дисциплину только в ее первой фазе. Причина этого станет для нас ясна, как только мы сформулируем точно качественное отличие второй фазы.

Мы видели, что объяснительный принцип выводит нас за пределы данной науки и должен осмыслить всю объединенную область знания как особую категорию или ступень бытия в ряду других категорий, т. е. имеет дело в последними, наиболее обобщенными, по

309

существо философскими, принципами. В этом смысле общая наука есть философия специальных дисциплин.

В этом смысле Л. Бинсвангер говорит, что общая наука разрабатывает основы и проблемы целой области бытия, как, например, общая биология (1922, с. 3). Любопытно, что первая книга, положившая начало общей биологии, называлась «Философия зоологии» (Ж.-Б. Ламарк¹¹). Чем дальше проникает общее исследование, продолжает Бинсвангер, чем большую область оно охватывает, тем абстрактнее и дальше от непосредственно воспринимаемой действительности становится предмет такого исследования. Вместо живых растений, животных, людей предметом науки становятся проявления жизни и, наконец, сама жизнь, как в физике — вместо тел и их изменений — сила и материя. Для всякой науки раньше или позже наступает момент, когда она должна осознать себя самое как целое, осмыслить свои методы и перенести внимание с фактов и

явлений на те понятия, которыми она пользуется. Но с этого момента общая наука отличается от специальной не тем, что она шире по охвату, объему, но тем, что она качественно иначе организована. Она не изучает больше те же самые объекты, что специальная наука, но исследует понятия этой науки; она превращается в критическое исследование в том смысле, в каком И. Кант употреблял это выражение. Критическое исследование уже вовсе не биологическое или физическое исследование, оно направлено на понятия биологии и физики. Общая психология, следовательно, определяется Бинсвангером как критическое осмысление основных понятий психологии, кратко — как «критика психологии». Она есть ветвь общей методологии, т. е. той части логики, которая имеет задачей изучать различные применения логических форм и норм в отдельных науках в соответствии с формальной и вещественной действительной природой их предмета, их способа познания, их проблемы (1922, с. 3—5).

Это рассуждение, сделанное на основе формально-логических предпосылок, верно только наполовину. Верно, что общая наука есть учение о последних основах, общих принципах и проблемах данной области знания и что, следовательно, ее предмет, способ исследования, критерии, задачи иные, чем у специальных дисциплин. Но неверно, будто она есть только часть логики, только логическая дисциплина, что общая биология — уже не биологическая дисциплина, а логическая, что общая психология перестает быть психологией, а становится логикой; что она есть только критика в кантовом смысле, что она изучает только понятия. Это неверно прежде всего исторически, а затем и по существу дела, по внутренней природе научного знания.

Неверно это исторически, т. е. не отвечает фактическому положению вещей ни в одной науке. Не существует ни одной общей науки в той форме, которую описывает Бинсвангер. Даже общая биология в том виде, в каком она существует на деле, та биология, основы

310

которой заложены трудами Ламарка и Дарвина, та биология, которая до сих пор есть свод реального знания о живой материи, есть, конечно, не часть логики, а естественная наука, хотя и высшей формации. Она имеет дело, конечно, не с живыми, конкретными объектами — растениями, животными, а с абстракциями, как организм, эволюция видов, естественный отбор, жизнь, но все же при всем том она при помощи этих абстракций изучает в конечном счете ту же действительность, что и зоология с ботаникой. Было бы ошибкой сказать, что она изучает понятия, а не отраженную в этих понятиях действительность, как было бы ошибкой сказать об инженере, изучающем чертеж машины, что он изучает чертеж, а не машину, или об анатоме, изучающем атлас, что он изучает рисунки, а не скелет человека. Ведь и понятия суть только чертежи, снимки, схемы реальности, и, изучая их, мы изучаем модели действительности, как по плану или географической карте мы изучаем чужую страну или чужой город.

Что касается таких развитых наук, как физика и химия, то и сам Бинсвангер вынужден признать, что там образовалось обширное поле исследований между критическим и эмпирическим полюсами, что эту область называют теоретической, или общей, физикой, химией и т. д. Так же, замечает он, поступает и естественнонаучная теоретическая психология, которая в принципе хочет быть равна с физикой. Как бы абстрактно ни формулировала теоретическая физика свой предмет изучения, например «учение о причинных зависимостях между явлениями природы», все же она изучает реальные факты; общая физика исследует самое понятие физического явления, физической причинной связи, но не отдельные законы и теории, на основе которых реальные явления могли бы быть объяснены как физически причинные; скорее самое физическое объяснение есть предмет исследования общей физики (Л. Бинсвангер, 1922, с. 4—5).

Как видим, сам Бинсвангер признает, что его концепция общей науки расходится с реальной концепцией, как она осуществлена в ряде наук, именно в одном пункте. Их разделяет не большая или меньшая степень абстрактности понятий, что может быть дальше от реальных, эмпирических вещей, чем причинная зависимость как предмет целой науки, их разделяет конечная направленность: общая физика, в конце концов, направлена на реальные факты, которые она хочет объяснить при помощи абстрактных понятий; общая наука в идее направлена не на реальные факты, но на самые понятия и с реальными фактами никакого дела не имеет.

Правда, там, где возникает спор между теорией и историей, где есть расхождение между идеей и фактом, как в данном случае, там спор всегда решается в пользу истории или факта. Самый аргумент от фактов в области принципиальных исследований иногда неуместен. Здесь с полным правом и смыслом можно ответить на

311

упрек в несоответствии идеи и фактов: тем хуже для фактов. В данном случае — тем хуже для наук, если они находятся в той фазе развития, когда они не доросли еще просто до общей науки. Если общей науки в этом смысле еще нет, отсюда не следует, что ее и не будет, что ее не должно быть, что нельзя и не надо положить ей начало. Поэтому надо рассматривать проблему по существу, в ее логической основе, а тогда можно будет уяснить себе и смысл исторического отклонения общей науки от ее абстрактной идеи. По существу важно установить два тезиса.

1. Во всяком естественнонаучном понятии, как бы ни была высока степень его абстракции от эмпирического факта, всегда содержится сгусток, осадок конкретно-реальной действительности, из научного познания которой он возник, хотя бы и в очень слабом растворе, т. е. всякому, даже самому предельно отвлеченному, последнему понятию соответствует какая-то черта действительности, представленная в понятии в отвлеченном, изолированном виде; даже чисто фиктивные, не естественнонаучные, а математические понятия в конечном счете содержат в себе некоторый отзвук, отражение реальных отношений между вещами и реальных процессов, хотя они возникли не из опытного, реального знания, а чисто априорным, дедуктивным путем логических умозрительных операций. Даже такое отвлеченное понятие, как числовой ряд, даже такая явная фикция, как нуль, т. е. идея отсутствия всякой величины, как показал Энгельс, полны качественных, т. е. в конечном счете реальных, соответствующих в очень отдаленной и перегнанной форме действительным отношениям свойств. Реальность существует даже внутри мнимых абстракций математики. «16 есть не только суммирование 16 единиц, оно также квадрат от 4 и биквадрат от 2... Только четные числа делятся на два... Для деления на 3 мы имеем правило о сумме цифр... Для 7 особый закон» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 573). «Нуль уничтожает всякое другое число, на которое его умножают; если его сделать делителем или делимым по отношению к любому другому числу, то это число превращается в первом случае в бесконечно большое, а во втором случае — в бесконечно малое...» (там же, с. 576). Обо всех понятиях математики можно было бы сказать то, что Энгельс говорит о нуле со слов Гегеля: «Ничто от некоторого нечто есть некое *определенное* ничто» (там же, с. 577), т. е. в конечном счете реальное ничто. Но, может быть, эти качества, свойства, *определенности* понятий как таковых и никакого отношения к действительности не имеют?

Ф. Энгельс ясно говорит как об ошибке о мнении, будто в математике имеют дело с чистыми свободными творениями и созданиями человеческого духа, для которых нет ничего соответственного в объективном мире. Справедливо как раз обратное. Мы встречаем для всех этих мнимых величин прообразы в природе. Молекула обладает по отношению к соответствующей массе совершенно теми же

312

самыми свойствами, какими обладает математический дифференциал по отношению к своей переменной. «Природа оперирует этими дифференциалами, молекулами точно таким же образом и по точно таким же законам, как математика оперирует своими абстрактными дифференциалами» (там же, с. 583). В математике мы забываем все эти аналогии, и поэтому ее абстракции превращаются в нечто таинственное. Мы всегда можем найти «действительные отношения, из области которых заимствовано... математическое отношение... и даже наталкиваемся на имеющиеся в природе аналоги того математического приема, посредством которого это отношение проявляется в действии» (там же, с. 586). Прообразы математического бесконечного и других понятий лежат в действительном мире. «Математическое бесконечное заимствовано из действительности, хотя и бессознательным образом, и поэтому оно может быть объяснено только из действительности, а не из самого себя, не из математической абстракции» (там же).

Если это верно по отношению к математической абстракции, т. е. к максимально возможной, то насколько это очевиднее в приложении к абстракциям реальных естественных наук; их уже, конечно, надо объяснять только из действительности, из которой они заимствованы, а не из самих себя, не из абстракции.

2. Второй тезис, который необходимо установить, чтобы дать принципиальный анализ проблемы общей науки, обратный первому. Если первый утверждал, что в самой высокой научной абстракции есть элемент действительности, то второй как обратная теорема гласит: во всяком непосредственном, самом эмпирическом, самом сыром, единичном естественнонаучном факте уже заложена первичная абстракция. Факт реальный и факт научный тем и отличаются друг от друга, что научный факт есть опознанный в известной системе знания реальный факт, т. е. абстракция некоторых черт из неисчерпаемой суммы признаков естественного факта. Материалом науки является не сырой, но логически обработанный, выделенный по известному признаку природный материал. Физическое тело, движение, вещество — это все абстракции. Самое название факта словом есть наложение понятия на факт, выделение в факте его одной стороны, есть акт осмысления факта при помощи присоединения его к прежде опознанной в опыте категории явлений. Всякое слово есть уже теория, как давно заметили лингвисты и как прекрасно показал А. А. Потебня.

Все описываемое как факт — уже теория, вспоминает гётевское слово Мюнстерберг, обосновывая необходимость методологии (1922). Сказав, встретив то, что мы называем коровой: «Это — корова», — мы к акту восприятия присоединяем акт мышления, подведения данного восприятия под общее понятие; ребенок, называя впервые вещи, совершает подлинные открытия. Я не вижу, что это есть корова, да этого и нельзя видеть. Я вижу нечто большое, черное, движущееся,

313

мычащее и т. д., а понимаю, что это есть корова, и этот акт есть акт классификации, отнесения единичного явления к классу сходных явлений, систематизация опыта и т. д. Так, в самом языке заложены основы и возможности научного познания факта. Слово и есть зародыш науки, и в этом смысле можно сказать, что в начале науки было слово.

Кто видел, кто воспринимал такие эмпирические факты, как скрытая теплота парообразования? Ни в одном реальном процессе ее воспринять непосредственно нельзя, но мы можем с необходимостью умозаключить об этом факте, но умозаключать — значит оперировать понятиями.

Хороший пример наличия во всяком научном факте абстракций и участия мышления находим у Энгельса. У муравьев иные глаза, чем у нас; они видят химические лучи, невидимые для нас. Вот факт. Как он установлен? Как можем мы знать, что «муравьи *видят* вещи, которые для нас невидимы»? Конечно, мы основываем это на восприятиях нашего глаза, но к нему присоединяются не только другие чувства, но и деятельность нашего мышления. Таким образом, установление научного факта есть уже дело мышления, т. е. понятий. «Разумеется, мы никогда не узнаем того, в *каком виде* воспринимаются муравьями химические лучи. Кого это огорчает, тому уж ничем нельзя помочь» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 555)*. Вот лучший пример несовпадения реального и научного фактов. Здесь это несовпадение представлено в особенно ярком виде, но существует в той или иной мере во всяком факте. Мы никогда не видели химических лучей и не воспринимали ощущений муравьев, т. е. как реальный факт непосредственного опыта видение химических лучей муравьями не существует для нас, но для коллективного опыта человечества это существует как факт научный. Но что тогда сказать о факте вращения Земли вокруг Солнца? Ведь здесь факт реальный, чтобы стать фактом научным, должен был в мышлении человека превратиться в собственную противоположность, хотя вращение Земли вокруг Солнца установлено путем наблюдений вращения Солнца вокруг Земли.

Теперь мы вооружены для разрешения проблемы всем нужным и можем идти прямо к цели. Если в основе всякого научного понятия лежит факт, и обратно: в основе каждого научного факта лежит понятие, то отсюда неизбежно следует, что различие между общими

* Заметим кстати, что на «том психологическом примере можно видеть, как не совпадают в психологии факт научный и факт непосредственного опыта. Оказывается, можно изучать, как видят муравьи, и даже как они видят невидимые для нас вещи, и не знать, какими эти вещи являются муравьям, т. е. возможно устанавливать психологические факты, отнюдь не исходя из внутреннего опыта, иначе говоря, не субъективно. Энгельс даже, видимо, считает это последнее для научного факта не важным: кто этим огорчается, говорит он, тому ничем нельзя помочь.

314

и эмпирическими науками в смысле объекта исследования чисто количественное, а не принципиальное, это различие степени, а не различие природы явления. Общие науки имеют дело не с реальными предметами, а с абстракциями; они изучают не растения и животных, а жизнь; их объект — научные понятия. Но и жизнь есть часть действительности, и эти понятия имеют прообразы в действительности. Частные науки имеют предметом реальные факты действительности, они изучают не жизнь вообще, а реальные классы и группы растений и животных. Но и растение, и животное, и даже береза и тигр, и даже *эта* береза и *этот* тигр — суть уже понятия, но и научные факты, самые первичные, суть уже понятия. Факт и понятие только в разной степени, в разной пропорции образуют объект и тех, и других дисциплин. Следовательно, общая физика не перестает быть физической дисциплиной и не становится частью логики оттого, что она имеет дело с самыми отвлеченными физическими понятиями; даже в них познается в конечном счете какой-то разрез действительности.

Но, может быть, природа объектов общей и частной дисциплины действительно одна и та же, может быть, они разнятся только пропорцией отношения понятия и факта, а принципиально различие, позволяющее относить одну к логике, а другую к физике, лежит в направленности, цели, в точке зрения обоих исследований, так сказать, в разной роли, которую одни и те же элементы играют в обоих случаях? Нельзя ли сказать так: и понятие, и факт участвуют в образовании объекта той и другой науки, но в одном случае — в случае эмпирической науки — мы пользуемся понятиями, чтобы познать факты, а во втором — в общей науке — мы пользуемся фактами, чтобы познать самые понятия? В первом случае понятие не есть предмет, цель, задача познания, они суть орудия познания, средства, вспомогательные приемы, но целью, предметом познания являются факты; в результате познания увеличивается число фактов, известных нам, а не число понятий; понятия же, напротив, как всякое орудие труда, изнашиваются от употребления, стираются, нуждаются в пересмотре, часто — в замене. Во втором случае, наоборот, мы изучаем самые понятия как таковые, их соответствие с фактами есть только средство, способ, прием, проверка их годности. В результате этого мы не узнаем новых фактов, но приобретаем или новые понятия, или новые знания о понятиях. Можно ведь дважды рассматривать каплю воды под микроскопом, и это будут два совершенно различных процесса, хотя и капля, и микроскоп будут те же оба раза: в первый раз мы при помощи микроскопа изучаем состав капли воды; во второй раз мы при помощи разглядывания капли воды проверяем годность самого микроскопа — разве не так?

Но вся трудность проблемы в том именно и заключается, что это не так. Верно, что в частной науке мы пользуемся понятиями как

315

орудиями познания фактов, но пользование орудиями есть вместе с тем их проверка, изучение и овладение ими, отбрасывание негодных, исправление, создание новых. Уже в самой первой стадии

научной обработки эмпирического материала пользование понятием есть критика понятия фактами, сопоставление понятий, видоизменение их. Возьмем в качестве примера два приведенных выше научных факта, безусловно не принадлежащих к общей науке: вращение Земли вокруг Солнца и видение муравьев. Сколько критической работы над нашими восприятиями и, значит, связанными с ними понятиями, сколько прямого исследования понятий — видимости — невидимости, кажущегося движения — сколько создания новых понятий, сколько новых связей между понятиями, сколько видоизменения самих понятий видения, света, движения и пр. потребовалось для установления этих фактов! Наконец, самый выбор нужных для познания данных фактов понятий разве не требует, помимо анализа фактов, еще и анализа понятий? Ведь если бы понятия, как орудия, были заранее предназначены для определенных фактов опыта, то вся наука была бы излишня: тогда тысяча-другая чиновников-регистраторов или статистиков-счетчиков разнесли бы всю Вселенную по карточкам, графам, рубрикам Научное познание от регистрации факта отличается актом выбора нужного понятия, т. е. анализом факта и анализом понятия.

Любое слово есть теория; название предмета есть приложение к нему понятия. Правда, мы при помощи слова хотим осмыслить предметы. Но ведь каждое название, каждое применение слова, этого эмбриона науки, есть критика слова, стирание его образа, расширение значения. Лингвисты показали достаточно ясно, как изменяются слова от употребления; иначе ведь язык никогда не обновлялся бы, слова бы не умирали, не рождались, не старели.

Наконец, всякое открытие в науке, всякий шаг вперед в эмпирической науке есть всегда вместе с тем и акт критики понятия. И. П. Павлов открыл факт условных рефлексов; но разве он не создал вместе с тем новое понятие; разве прежде называли рефлексом выдрессированное, выученное движение? Да иначе и быть не может: если бы наука только открывала факты, не расширяя тем границ понятий, то она не открывала бы ничего нового; она бы топталась на месте, находя все новые и новые экземпляры тех же понятий. Всякая новая крупница факта есть уже расширение понятия. Всякое вновь открытое отношение между двумя фактами сейчас же требует критики двух соответственных понятий и установления между ними нового отношения. Условный рефлекс есть открытие нового факта при помощи старого понятия. Мы узнали, что психическое слюноотделение возникает непосредственно из рефлекса, вернее, что оно есть тот же самый рефлекс, но действующий в иных условиях. Но вместе с тем это есть открытие нового понятия при помощи старого факта: при помощи всем известного факта «слюнки текут

316

при виде пищи» мы получили совершенно новое понятие рефлекса, наше представление о нем диаметрально изменилось; прежде рефлекс был синонимом допсихического, бессознательного, неизменного факта, ныне к рефлексам сводят всю психику, рефлекс оказался самым гибким механизмом и т. д. Как это было бы возможно, если бы Павлов изучал только факт слюноотделения, а не понятие рефлекса? В сущности, это одно и то же, но выраженное двояким образом, ибо во всяком научном открытии познание факта и есть в той же мере познание понятия. Научное исследование фактов тем и отличается от регистрации, что оно есть накопление понятий, оборот понятий и фактов с прибылью понятий.

Наконец, ведь в частных науках создаются все те понятия, которые изучает общая наука. Ведь не из логики берут свое начало естественные науки, не она снабжает их заранее готовыми понятиями. Так неужели же можно допустить, что работа по созданию понятий, все более и более абстрактных, происходит совершенно бессознательно? Как могут без критики понятий существовать теории, законы, враждующие гипотезы? Как вообще можно создать теорию или выдвинуть гипотезу, т. е. нечто выходящее за пределы фактов, без работы над понятиями?

Но тогда, может быть, исследование понятий в частных науках происходит попутно, между прочим, по мере изучения фактов, а общая наука изучает только понятия? И это было бы неверно. Мы видели, что абстрактные понятия, которыми оперирует общая наука, содержат в себе реальное ядро. Спрашивается: что же делает с этим ядром наука — отвлекается от него, забывает о нем, укрывается в неприступную твердыню абстракции, как чистая математика, и ни

в процессе исследования, ни в его результате не обращается к этому ядру, как будто оно не существует вовсе? Стоит только рассмотреть способ исследования в общей науке и его конечный результат, чтобы увидеть, что это не так. Разве исследование понятий ведется путем чистой дедукции, путем нахождения логических отношений между понятиями, а не путем новой индукции, нового анализа, установления новых отношений, — одним словом, путем работы над реальными содержаниями этих понятий? Ведь мы не развиваем нашу мысль из частных предпосылок, как в математике, но мы индуцируем — обобщаем огромные группы фактов, сопоставляем их, анализируем, создаем новые абстракции. Так поступает общая биология, общая физика. И иначе не может поступать ни одна общая наука, раз логическая формула «Л есть В» заменена в ней определением, т. е. реальными *A* и *B*: массой, движением, телом, организмом. И в результате исследования общей науки мы получаем не новые формы взаимоотношений понятий, как в логике, а новые факты: мы узнаем об эволюции, о наследственности, об инерции. Как же узнаем мы, каким путем доходим до понятия эволюции? Мы сопоставляем такие факты, как данные сравнительной анатомии

317

и физиологии, ботаники и зоологии, эмбриологии и фото- и зоотехники и т. д., т. е. поступаем так же, как поступают в частной науке с единичными фактами, и на основе нового изучения разработанных отдельными науками фактов устанавливаем новые факты, т. е. все время в процессе исследования и в его результате оперируем фактами.

Таким образом, различие в цели, направлении, обработке понятий и фактов общей и частной науки опять оказывается только количественным, различием в степени одного и того же явления, а не в природе одной и другой науки, не абсолютным, принципиальным.

Перейдем, наконец, к положительному определению общей науки. Может показаться, что если различие между общей и частной наукой в предмете, способе и цели исследования только относительное, а не абсолютное, количественное, а не принципиальное, то мы теряем всякую почву для теоретического разграничения наук, может показаться, что никакой общей науки в отличие от частных и нет. Но это, конечно, не так. Количество здесь переходит в качество и дает начало качественно отличной науке, однако не вырывает ее из данной семьи наук и не переносит ее в логику. Если в основе всякого научного понятия лежит факт, то это еще не значит, что во всяком научном понятии факт представлен одинаковым образом. В математическом понятии бесконечного действительность представлена совершенно иным способом, чем в понятии условного рефлекса. В понятиях высшего порядка, с которыми имеет дело общая наука, действительность представлена иным способом, чем в понятиях эмпирической науки. И этот способ, характер, форма представления действительности в разных науках определяют всякий раз структуру каждой дисциплины.

Но и это различие в способе представления действительности, т. е. в структуре понятий, тоже не следует понимать как абсолютное. Есть много переходных ступеней между эмпирической наукой и общей: ни одна наука, которая заслуживает этого имени, говорит Бинсвангер, не может «оставаться при простом накоплении понятий, она стремится скорее систематически преобразовать всякое понятие в правило, правила — в законы, законы в теории» (1922, с. 4). На всем протяжении научного знания внутри самой науки все время, не прекращаясь ни на минуту, идет разработка понятий, методов, теорий, т. е. совершается переход от одного полюса к другому — от факта к понятию — и этим стирается логическая пропасть, непроходимая черта между общей и частной наукой, но создается фактическая самостоятельность и необходимость общей науки. Как сама частная дисциплина внутри себя производит всю эту работу воронки фактов через правила в законы и законов через теории в гипотезы, так общая наука выполняет ту же работу, тем же способом, с теми же целями для ряда отдельных частных наук.

Это совершенно сходно с рассуждением Спинозы о методе. Уче-

318

ние о методах есть, конечно, производство средств производства, если взять сравнение из области промышленности. Но в промышленности производство средств производства не есть какое-то

особое, изначальное производство, а есть часть общего процесса производства и само зависит от тех же способов и орудий производства, что и все прочее производство.

«Прежде всего необходимо отметить, — рассуждает Спиноза, — что здесь не будет иметь места исследование до бесконечности; другими словами, для того чтобы был найден наилучший метод для исследования истин, не надобно другого метода, чтобы им исследовать метод исследования истины, и, чтобы исследовать второй метод, не надобно некоторого третьего метода и т. д. до бесконечности; так как таким путем никогда не удалось бы прийти к познанию истины, да и вообще ни к какому понятию. С методом познания дело обстоит так же, как с естественными орудиями труда, где было бы возможно подобное же рассуждение: действительно, чтобы выковать железо, надобен молот; чтобы иметь молот, необходимо, чтобы он был сделан; для этого нужно опять иметь молот и другие орудия; чтобы иметь эти орудия, опять-таки понадобились бы еще другие орудия, и т. д. до бесконечности; на этом основании кто-нибудь мог бы бесплодно пытаться доказывать, что люди не имели никакой возможности выковать железо. Однако так же, как люди вначале, с помощью врожденных им орудий, сумели создать нечто весьма легкое, хотя с большим трудом и мало совершенным образом, а выполнив это, выполнили следующее более трудное, уже с меньшей затратой труда и с большим совершенством, и так, переходя постепенно от самых примитивных творений к орудиям труда, и от орудий к следующим творениям и следующим орудиям, достигли того, чтобы выполнять весьма многое и в высшей степени трудное с незначительной затратой работы, точно так же и интеллект путем приращенной ему силы создает себе интеллектуальные орудия, с помощью которых приобретает новые силы для новых интеллектуальных творений, а путем этих последних — новые орудия или возможность к дальнейшим изысканиям, и таким образом постепенно идет вперед, пока не достигнет наивысшей точки мудрости» (1914, с. 81—84).

В сущности, и то течение в методологии, представителем которого является Бинсвангер, не может не признать, что производство орудий и творений не два отдельных процесса в науке, а две стороны одного и того же процесса, которые идут рука об руку. Вслед за Г. Риккертом он определяет всякую науку как обработку материала, и потому относительно каждой науки для него возникают две проблемы — материала и его обработки; однако нельзя строго разграничить то и другое, потому что в понятии предмета эмпирической науки содержится добрая доля обработки. И он различает между сырым материалом, действительным предметом и

научным предметом; последний создается наукой путем понятий из реального предмета (Бинсвангер, 1922, с. 7—8). Если выдвинуть третий круг проблем — об отношении между материалом и обработкой, т. е. между предметом и методом науки, то и здесь спор может идти только о том, что определено чем: предмет методом или наоборот. Одни, как К. Штумпф, полагают, что всякие различия в методах коренятся в различии между предметами. Другие, как Риккерт, держатся того мнения, что разные предметы, как физические, так и психические, требуют одного и того же метода (там же, с. 21—22). Но, как видим, и тут нет почвы для разграничения между общей и частной наукой.

Все это указывает только на то, что невозможно дать понятию общей науки абсолютное определение, ее можно определить только относительно частной науки. С этой последней ее не разделяет ни предмет, ни метод, ни цель, ни результат исследования. Но она проделывает для ряда частных наук, изучающих смежные сферы действительности с одной точки зрения, ту же самую работу и тем же самым способом и с той же самой целью, что каждая из частных наук проделывает внутри себя над своим материалом. Мы видели, что никакая наука не ограничивается простым накоплением материала, но что она подвергает его многообразной и многостепенной переработке, что она группирует, обобщает материал, создает теории, гипотезы, помогающие шире осмыслить действительность, что она освещена отдельными, разрозненными фактами. Общая наука продолжает дело частных наук. Когда материал их доведен до высшей степени обобщения, возможного в данной науке, тогда дальнейшее обобщение оказывается возможным только за пределы данной науки и в сопоставлении с материалом ряда соседних наук. Это и делает общая наука. Ее единственное отличие от частных наук только в том, что она ведет работу по

отношению к ряду наук; если бы она вела ту же работу в отношении одной науки, она никогда не выделилась бы в самостоятельную дисциплину, а осталась бы частью внутри той же науки. Общую науку поэтому можно определить как науку, получающую материал из ряда частных наук и производящую дальнейшую обработку и обобщение материала, невозможные внутри каждой отдельной дисциплины.

Общая наука поэтому так относится к частной, как теория этой частной науки — к ряду ее частных законов, т. е. по степени обобщения изучаемых явлений. Общая наука возникает из необходимости продолжать дело частных наук там, где частная наука кончается. Общая наука относится к теориям, законам, гипотезам, методам частных наук так, как частная наука относится к фактам действительности, которые она изучает. Биология получает материал разных наук и обрабатывает его так, как каждая частная наука обрабатывает свой материал. Вся разница в том, что биология начинается там, где кончается эмбриология, зоология, анатомия и т. п.,

320

что она сводит в единство материал разных наук, как наука сводит в единство разные материалы внутри себя.

Эта точка зрения вполне объясняет и логическую структуру общей науки, и фактическую, историческую роль общей науки. Если же принять противоположное мнение о том, что общая наука есть часть логики, то станет совершенно необъяснимо, во-первых, почему общую науку выделяют высокоразвитые науки, успевшие создать и разработать до тонкости свои методы, основные понятия, теории. Казалось бы, что новые, молодые, начинающие дисциплины должны больше нуждаться в заимствовании понятий и методов из другой науки. Во-вторых, почему только группа соседних дисциплин выделяет общую, а не каждая наука в отдельности — только ботаника, зоология, антропология выделяют биологию? Разве нельзя составить логику зоологии отдельно, логику ботаники отдельно, как есть логика алгебры? И действительно такие отдельные дисциплины могут существовать и существуют, но оттого они не становятся общими науками, как методология ботаники не становится биологией.

Л. Бинсвангер исходит, как и все направление, из идеалистической концепции научного знания, т. е. из идеалистических предпосылок гносеологического характера, и из формально-логической конструкции системы наук. Для Бинсвангера понятия и реальные объекты разделены непроходимой пропастью, знание имеет свои законы, свою природу, свое априори, которые оно (знание) привносит в познанную действительность. Поэтому для Бинсвангера возможно изучать эти априори, законы, знания оторванно, изолированно от познаваемого в них, для него возможна критика научного разума в биологии, психологии, физике, как для Канта была возможна критика чистого разума. Бинсвангер готов допустить, что метод познания определяет действительность, как у Канта разум диктовал законы природе. Отношения между науками для него определяются не историческим развитием наук и даже не требованиями научного опыта, т. е. в конечном счете требованиями самой познаваемой в науке действительности, а формально-логической структурой понятий.

На иной философской почве такая концепция немыслима, т. е. если отказаться от этих гносеологических и формально-логических предпосылок, так сейчас же падает и эта концепция общей науки. Стоит только встать на реалистически-объективную, т. е. материалистическую точку зрения в гносеологии и на диалектическую точку зрения в логике, в теории научного знания, как подобная теория окажется невозможной. Вместе с новой точкой зрения сейчас же приходится признать, что действительность определяет наш опыт, предмет науки, ее метод и что совершенно невозможно изучать понятия какой-либо науки безотносительно к представленным в них реальностям.

321

Ф. Энгельс множество раз указывал на то, что для диалектической логики методология науки есть отражение методологии действительности. «Классификация наук,— говорит он,— из которых каждая анализирует отдельную форму движения или ряд связанных между собой и переходящих друг в друга форм движения, является вместе с тем классификацией, расположением, согласно внутренне присущей им последовательности, самих этих форм

движения, и в этом именно и заключается ее значение» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 564—565). Можно ли сказать яснее? Классифицируя науки, мы устанавливаем иерархию самой действительности. «Так называемая *объективная* диалектика царит во всей природе, а так называемая *субъективная* диалектика, диалектическое мышление, есть только отражение господствующего во всей природе движения путем противоположностей...» (там же, с. 526). Здесь уже ясно выдвигается требование учета объективной диалектики природы при исследовании субъективной диалектики, т. е. диалектического мышления в той или иной науке. Конечно, это отнюдь не значит, что мы закрываем глаза на субъективные условия этого мышления. Тот же Энгельс, который установил согласие между бытием и мышлением в математике, говорит, что «все числовые законы зависят от положенной в основу системы и определяются ею. В двоичной и троичной системе $2 \times 2 \neq 4$, $a = 100$ или 11 » (там же, с. 574). Расширив это, можно сказать, что субъективные допущения, делаемые знанием, всегда скажутся на способе выражения законов природы и на соотношении между отдельными понятиями, и их надо учитывать, но все время как отражения объективной диалектики.

Таким образом, гносеологической критике и формальной логике как основам общей психологии должна быть противопоставлена диалектика, которая «рассматривается как наука о наиболее общих законах *всякого* движения. Это означает, что ее законы должны иметь силу как для движения в природе и человеческой истории, так и для движения мышления» (там же, с. 582). Это значит, что диалектика психологии — так мы теперь кратко можем обозначить общую психологию против определения Бинсвангера «критика психологии» — есть наука о наиболее общих формах движения (в форме поведения и познания этого движения), т. е. диалектика психологии есть вместе с тем и диалектика человека как предмета психологии, как диалектика естествознания есть вместе с тем диалектика природы. Даже чисто логическую классификацию суждений у Гегеля Энгельс рассматривает как обоснованную не только мышлением, но законами природы. В этом и видит он отличительную черту диалектической логики. «...То, что у Гегеля является развитием мыслительной формы суждения как такового, выступает здесь перед нами как развитие наших, покоящихся на *эмпирической* основе, теоретических, знаний о природе движения вообще. А ведь это показывает, что законы мышления и законы природы необходимо согласуются

322

между собой, если только они надлежащим образом познаны» (там же, с. 539—540). В этих словах — ключ к общей психологии как части диалектики: это согласие мышления и бытия в науке есть одновременно и предмет, и высший критерий, и даже метод, т. е. общий принцип общей психологии.

Конец формы

Общая психология относится к частным дисциплинам так же, как алгебра к арифметике. Арифметика оперирует с определенными, конкретными количествами; алгебра изучает всевозможные общие формы отношений между качествами; следовательно, каждая арифметическая операция может быть рассматриваема как частный случай алгебраической формулы. Отсюда, очевидно, следует, что для каждой частной дисциплины и для каждого закона в ней далеко не безразлично, частным случаем какой общей формулы они являются. Принципиально определяющая и как бы верховная роль общей науки проистекает не из того, что она стоит над науками, не сверху — из логики, т. е. из последних основ научного знания, а снизу — из самих же наук, которые делегируют свою санкцию истины в общую науку. Общая наука возникает, следовательно, из особого положения, которое она занимает по отношению к частным: она суммирует их суверенитеты, является их носительницей. Если представить себе систему знания, охватываемого всеми психологическими дисциплинами, графически в виде круга, то общая наука будет соответствовать центру окружности.

Теперь предположим, что мы имеем несколько разных центров, как в случае спора отдельных дисциплин, претендующих на то, чтобы быть центром, или в случае притязания различных идей на значение центрального объяснительного принципа. Совершенно ясно, что им будут соответствовать и различные окружности; при этом каждый новый центр является вместе с тем периферической точкой прежней окружности, следовательно, мы получим несколько окружностей, взаимно пересекающихся. Вот это новое расположение всякой окружности будет графически представлять в нашем примере особую область знания, охватываемую психологией в зависимости от центра, т. е. от общей дисциплины.

Кто станет на точку зрения общей дисциплины, т. е. пойдет к фактам частных дисциплин не как равный к равным, а как к научному материалу, как сами эти дисциплины подходят к фактам действительности, тот сейчас же сменит точку зрения критики на точку зрения исследования. Критика лежит в той же плоскости, что и критикуемое; она протекает всецело внутри данной дисциплины; ее цель — исключительно критическая, а не позитивная; она хочет узнать только, верна или неверна и в какой мере та или иная теория; она оценивает и судит, но не исследует. *A* критикует *B*,

323

но оба они занимают одну и ту же позицию по отношению к фактам. Дело меняется, когда *A* начинает относиться к *B* так, как *B* сам относится к фактам, т. е. не критиковать, а исследовать *B*. Исследование уже принадлежит общей науке; его задачи не критические, а положительные; оно хочет не оценить то или иное учение, но узнать нечто новое о самих фактах, представленных в учении. Если наука пользуется критикой как средством, то и течение [исследования.— *Ред.*], и результат его процесса все же принципиально отличаются от критического обсуждения. Критика, в конце концов, формулирует мнение о мнении, хотя бы и очень веско и солидно обоснованное мнение; общее исследование устанавливает, в конце концов, объективные законы и факты.

Только тот, кто поднимает свой анализ из плоскости критического обсуждения той или иной системы взглядов на высоту принципиального исследования средствами общей науки, только тот разберется в объективном смысле происходящего в психологии кризиса; для него откроется закономерность происходящего столкновения идей и мнений, обусловленная самим развитием науки и природой изучаемой действительности на данной ступени ее познания. Вместо хаоса разнородных мнений, пестрой разноголосицы субъективных высказываний для него раскроется стройный чертеж основных мнений развития науки, система объективных тенденций, с- необходимостью заложенных в исторических задачах, выдвинутых ходом развития науки, и действующих за спиной отдельных исследователей и теоретиков с силой стальной пружины. Вместо критического обсуждения и оценки того или иного автора, вместо уличения его в непоследовательности и противоречиях он займется положительным исследованием того, чего требуют объективные тенденции науки; и вместо мнения о мнении он получит в результате чертежа скелет общей науки как системы определяющих законов, принципов и фактов.

Только такой исследователь овладеет настоящим и верным смыслом происходящей катастрофы и составит себе ясное представление о роли, месте и значении каждой отдельной теории или школы. Вместо неизбежного во всякой критике импрессионизма и субъективности он будет руководствоваться научной достоверностью и истинностью. Для него исчезнут (и это будет первый результат новой точки зрения) индивидуальные различия — он поймет роль личности в истории; поймет, что объяснять претензии рефлексологии на универсализм так же нельзя личными ошибками, мнениями, особенностями, незнанием ее создателей, как французскую революцию — испорченностью королей, двора. Он увидит, что и сколько зависит в развитии науки от доброй и злой воли ее деятелей, что можно из этой воли объяснить и что, напротив, в самой этой воле должно быть объяснено из объективных тенденций, действующих за спиной этих деятелей. Конечно, особенности личного творчества и всего

324

склада научного опыта определили ту форму универсализма, которую идея рефлексологии получила у Бехтерева; но и у Павлова, личный склад и научный опыт которого совершенно

отличны, рефлексология— «последняя наука», «всемогущее естествознание», которое принесет «истинное, полное и прочное человеческое счастье» (1950, с. 17). И в разной форме тот же путь проделывают и бихевиоризм и гештальттеория. Очевидно, вместо мозаики добрых и злых волю исследователей надо изучать единство процессов перерождения научной ткани в психологии, которое и обуславливает волю всех исследователей.

Когда Т. Липпе говорит о подсознательном, что это не столько психологический вопрос, сколько вопрос самой психологии, он имеет в виду, что подсознательное есть проблема общей психологии (1914). Он хотел этим сказать, конечно, не что иное, как то, что этот вопрос будет решен не в результате тех или иных частных исследований, а в результате принципиального исследования средствами общей науки, т. е. путем сопоставления обширнейших данных самых разнородных областей науки; путем соотнесения данной проблемы с некоторыми основными предпосылками научного знания, с одной стороны, и с некоторыми самыми обобщенными результатами всех наук — с другой; путем нахождения места этого понятия в системе основных понятий психологии; путем фундаментально диалектического анализа природы этого понятия и отвечающей ему, абстрагированной в нем черты бытия. Это исследование предшествует логически всякому конкретному исследованию частных вопросов подсознательной жизни и определяет постановку самого вопроса в таких исследованиях.

Как прекрасно сказал Мюнстерберг, защищая необходимость такого исследования для другого круга проблем: «В конце концов лучше получить приблизительно точный предварительный ответ на правильно поставленный вопрос, чем отвечать на ложно поставленный вопрос с точностью до последнего десятичного знака» (1922, с. 6). Правильная постановка вопроса есть не меньшее дело научного творчества и исследования, чем правильный ответ,— и гораздо более ответственное дело. Огромное большинство современных психологических исследований с величайшей заботливостью и точностью выписывает последний десятичный знак в ответе на вопрос, который в корне ложно поставлен.

Примем ли мы вместе с Мюнстербергом, что подсознательное есть просто физиологическое, а не психологическое; или согласимся

325

с другими говорить как о подсознательных о явлениях, временно отсутствующих в сознании, как о всей массе потенциально сознательных воспоминаний, знаний, навыков; назовем ли мы подсознательными явления, не достигающие порога сознания или минимально сознательные, периферические в поле сознания, автоматические и несознаваемые; найдем ли в основе подсознательного вытеснение стремления сексуального порядка вместе с Фрейдом или наше второе я, особую личность; наконец, назовем ли эти явления бес-, под- или сверхсознательными или примем все три названия, как Штерн,— от всего этого существенно переменится и характер, и круг, и состав, и природа, и свойства того материала, который мы будем изучать. Вопрос отчасти предопределяет ответ.

Вот этого чувства системы, ощущения стиля, понимания связи и обусловленности каждого частного положения центральной идеей всей системы, в которую оно входит, лишены все те, эклектические по существу, попытки объединения разнородных и разноприродных по научному происхождению и составу частей двух или больше систем. Таковы, например, синтез бихевиоризма и фрейдизма в американской литературе; фрейдизм без Фрейда в системах А. Адлера и К. Юнга; рефлексологический фрейдизм Бехтерева и А. Б. Залкинда; наконец, попытки соединения фрейдизма и марксизма (А. Р. Лурия, 1925; Б. Д. Фридман, 1925). Столько примеров только из области проблемы подсознательного! Во всех этих попытках берется хвост от одной системы и приставляется к голове другой, в промежуток вдвигается туловище от третьей. Не то, чтобы они были неверны, эти чудовищные комбинации, они верны до последнего десятичного знака, но вопрос, на который они хотят ответить, поставлен ложно. Можно количество жителей Парагвая умножить на число верст от Земли до Солнца и полученное произведение разделить на среднюю продолжительность жизни слона и безупречно провести всю операцию, без ошибки в одной цифре, и все же полученное число может ввести в заблуждение того, кто захочет узнать, каков

национальный доход этой страны. То, что делают эклектики, значит давать на вопрос, поставленный марксистской философией, ответ, подсказанный фрейдистской метапсихологией.

Чтобы показать методологическую незаконность подобных попыток, остановимся на трех типах сведения воедино чужого вопроса с чужим ответом, не думая вовсе исчерпать этими тремя типами все многообразие таких попыток.

Первый способ ассимиляции какой-нибудь школой научных продуктов другой области состоит в прямом перенесении законов, фактов, теорий, идей и т. п., в захвате более или менее обширной области, занятой другими исследователями, в аннексии чужой территории. Такой политикой прямого захвата живет обычно всякая новая научная система, распространяющая влияние на соседние дисциплины и претендующая на руководящую роль общей науки.

326

Своего материала оказывается слишком мало, и такая система вбирает в себя, подчиняет себе с небольшой критической переработкой чужеродные тела, заполняя чем-либо пустоту широко развитых границ. Обычно получается конгломерат научных теорий» фактов и т. п., с ужасающей произвольностью втиснутый в рамки объединяющей идеи.

Такова система рефлексологии В. М. Бехтерева. Для него годится все: даже теория А. И. Введенского о непознаваемости чужого я, т. е. крайнее выражение солипсизма и идеализма в психологии, лишь бы эта теория ближайшим образом подтверждала его частное положение о необходимости объективного метода. То, что в общем смысле всей системы она пробивает зияющую брешь, подрывая основы реалистического подхода к личности, до этого автору нет дела (заметим, кстати, что Введенский также подкрепляет себя и свою теорию ссылкой на работы... Павлова, не понимая, что, обращаясь за помощью к системе объективной психологии, он протягивает руку своему могильщику). Но для методолога глубоко знаменательно, что антиподы, как Введенский — Павлов и Бехтерев — Введенский, не только отрицают друг друга, но необходимо предполагают существование один другого и видят в совпадении своих выводов свидетельство «надежности этих выводов». Для этого третьего (т. е. для методолога.— *Ред.*) ясно, что это есть не совпадение в выводах, полученных вполне независимо друг от друга представителями разных специальностей, например философом Введенским и физиологом Павловым, а совпадение в исходных, отправных точках зрения, в философских предпосылках дуалистического идеализма. Это «совпадение» предопределено с самого начала: Бехтерев предполагает Введенского, если прав один, прав и другой.

Принцип относительности А. Эйнштейна¹² и принципы ньютоновой механики, несовместимые сами по себе, отлично уживаются в эклектической системе. В «Коллективной рефлексологии» Бехтерева собран положительно каталог мировых законов. При этом для методологии системы характерен тот разгон или разбег мысли, та основная инерция идеи, которая прямым сообщением, минуя все промежуточные инстанции, приводит нас от закона пропорционального соотношения скорости движения с движущей силой, установленного в механике, к факту вовлечения Североамериканских Соединенных Штатов в великую европейскую войну и обратно — от опыта некоего д-ра Шварцмана о пределах частоты электрокожных раздражений, допускающих образование сочетательного рефлекса, к «всеобщему закону относительности, проявляющемуся везде и всюду и получившему окончательное завершение в отношении небесных светил и планет в блестящих исследованиях Эйнштейна» (В. М. Бехтерев, 1923, с. 344).

Нечего и говорить, что аннексия психологических областей производится так же безапелляционно и мужественно. Исследова-

327

ния вюрцбургской школы высших мыслительных процессов, как и результаты исследований других представителей субъективной психологии, «могут быть согласованы со схемой мозговых или сочетательных рефлексов» (там же, с. 387).¹ Нужды нет, что одной этой фразой зачеркиваются все принципиальные предпосылки собственной системы: ведь если все можно согласовать со схемой рефлекса и все «стоит в полном соответствии» с рефлексологией — даже то, что открыто субъективной психологией, то зачем ополчаться на нее? Открытия, сделанные в Вюрцбурге,

сделаны по методу, который, по Бехтереву, не ведет к истине; однако они стоят в полном соответствии с объективной истиной. Как же так?

Так же беззаботно аннексируется и территория психоанализа. Для этого достаточно заявить, что «в учении о комплексах К. Юнга мы находим полное соответствие с данными рефлексологии»; но ведь строкой выше указано, что это учение основано на субъективном анализе, отвергаемом Бехтеревым. Ничего: мы в мире предустановленной гармонии, чудесного соответствия, удивительного совпадения учений, основанных на ложных анализах, и данных точных наук, точнее — мы в мире «терминологических революций», по слову П. П. -Блонского (1925 а, с. 226).

Вся наша эклектическая эпоха полна таких же совпадений. А. Б. Залкиндо, например, те же области психоанализа и учения о комплексах аннексируются во имя доминанты. Оказывается, что психоаналитическая школа только «в наших выражениях и другим методом» развивала те же понятия о доминанте — совершенно независимо от рефлексологической школы. «Комплексная направленность» психоаналитиков, «стратегическая установка» адлеристов — это те же доминанты, но не в общефизиологических, а в клинических, общетерапевтических формулировках. Аннексия — механическое перенесение кусков чужой системы в свою — в этом случае, как и всегда, кажется почти чудесной и свидетельствует об истине. Подобное, «почти чудесное» теоретическое и деловое совпадение двух учений, работающих над резко отличным материалом и совершенно разными методами, является убедительным подтверждением правильности того основного пути, по которому идет современная рефлексология*. Мы помним, что Введенский в своем совпадении с

* Любопытно, что Бехтерев видит субъективное соответствие доминанте совершенно в другой области; при описании школы Юнга и Фрейда и комплексных установок он находит, конечно, тоже полное совпадение с данными рефлексологии, но не с доминантой. А доминанте соответствуют явления, описанные вюрцбургской школой, т. е. он, несомненно, «участвует в процессах логики» и коррелирует с понятием детерминирующей тенденции (1923, с. 386). Диапазон несовпадения отдельных совпадений (доминанта то равна комплексу, то — детерминирующей тенденции, то вниманию — у А. А. Ухтомского) лучше всего свидетельствует о пустоте, ничтожности, бесплодности и полной произвольности таких совпадений.

328

Павловым видел тоже свидетельство истины своих положений. И еще: совпадение это свидетельствует, как неоднократно показывал Бехтерев, о том, что совершенно разными методами можно прийти к совпадающей истине. В сущности, совпадение это свидетельствует только о методологической беспринципности и эклектизме системы, внутри которой такое совпадение устанавливается. Кто берет чужой платок, берет и чужой запах, гласит восточная пословица; кто берет у психоаналитиков — учение о комплексах Юнга, катарсис Фрейда, стратегическую установку Адлера, — тот берет и добрую долю запаха этих систем, т. е. философского духа авторов.

Если первый способ перенесения чужих идей из одной школы в другую напоминает аннексию чужой территории, то второй способ сравнения чужеродных идей похож на союзный договор двух стран, при котором обе не теряют самостоятельности, но улаживаются действовать сообща, исходя из общности интересов. Этот способ применяется обычно для сведения воедино марксизма и фрейдизма. Автор пользуется при этом методом, который, по аналогии с геометрией, можно было бы назвать методом логического наложения понятий. Система марксизма определяется как монистическая, материалистическая, диалектическая и т. д. Затем устанавливается монизм, материализм и т. д. системы Фрейда; понятия при наложении совпадают, и системы объявляются сращенными. Очень грубые, резкие, бьющие в глаза противоречия устраняются весьма элементарным путем: они просто исключаются из системы, объясняются преувеличением и т. п. Так, десексуализируется фрейдизм, потому что пансексуализм явно не вяжется с философией Маркса. Что ж, говорят нам, примем фрейдизм без учения о сексуальности. Но ведь именно это учение составляет нерв, душу, центр всей системы. Можно ли принять систему без ее центра? Ведь фрейдизм без учения о сексуальной природе бессознательного — все равно что христианство без Христа или буддизм с Аллахом.

Было бы, конечно, историческим чудом, если бы на Западе, на совершенно других философских корнях, в совершенно иной культурной обстановке, возникла и сложилась готовая система марксистской психологии. Это означало бы, что философия вовсе не определяет развитие науки. Видите же: исходили от Шопенгауэра¹³, а создали марксистскую психологию. Но ведь это означало бы полную бесплодность самой попытки сращивания фрейдизма и марксизма, как успех бехтеревского совпадения означал бы банкротство объективного метода: если данные субъективного анализа совпадают вполне с данными объективного, то чем, спрашивается, субъективный анализ хуже? Если Фрейд, сам того не зная, думая о других философских системах и сознательно примыкая к ним, создал все же марксистское учение о психике, то во имя чего, спрашивается, нарушать это плодотворнейшее заблуждение: ведь менять, по мнению этих авторов, ничего у Фрейда не надо, для чего же сращивать психоанализ с марксизмом? При этом возникает и такой любопытный вопрос: как эта система, насквозь совпадающая с марксизмом, логически развиваясь, поставила во главу угла идею сексуальности, явно непримиримую с марксизмом? Неужели метод ни в малой степени не ответствен за полученные при его помощи выводы и каким образом истинный метод, создавший истинную систему, основанную на истинных предпосылках, привел его авторов к ложной теории, к ложной центральной идее? Надо обладать большой дозой методологической беззаботности, чтобы не видеть этих проблем, возникающих неизбежно при всякой механической попытке переместить центр какой-либо научной системы — в данном случае с учения Шопенгауэра о воле как основе мира в учение Маркса о диалектическом развитии материи.

Но худшее ждет нас еще впереди. При таких попытках приходится просто закрывать глаза на противоречащие факты, опускать без внимания огромнейшие области, капитальные принципы и вносить чудовищные искажения в обе сводимые воедино системы. При этом проделываются в обеих системах такие преобразования, которыми оперирует алгебра, чтобы доказать тождество двух выражений. Но преобразование вида сводимых систем, оперирующее с величинами, абсолютно несхожими с алгебраическими, на деле сводится всегда к искажению сущности этих систем.

Например, в статье А. Р. Лурия психоанализ раскрывается как «система монистической психологии», методология которой «совпадает с методологией» марксизма (1925, с. 55). Для того чтобы доказать это, проделывается ряд наивнейших преобразований обеих систем, в результате которых они «совпадают». Рассмотрим кратко эти преобразования. Раньше всего марксизм выдвигается в общую методологию эпохи, наряду с Дарвином, Кантом, Павловым, Эйнштейном, которые все вместе создают общий методологический фундамент эпохи. Роль и значение каждого из этих авторов, конечно, глубокой принципиально различны, абсолютно отлична от них роль диалектического материализма по самой своей природе; не видеть этого — значит вообще механически выводить методологию из суммы «крупных научных достижений». Привести к одному знаменателю все эти имена и марксизм — и уже нетрудно соединить с марксизмом любое «крупное научное достижение», потому что такова ведь именно предпосылка: именно в ней, а не в выводе содержится искомое «совпадение». «Основная методология эпохи» состоит из суммы открытий Павлова, Эйнштейна и т. д.; марксизм есть одно из таких открытий, входящее в «группу обязательных для всех смежных наук принципов» — на этом, т. е. на первой странице, можно было бы все рассуждение и кончить: стоило только рядом с Эйнштейном назвать и Фрейда — ведь и он «крупное научное достижение», значит — участник «общего методологического фундамента эпохи».

Но сколько нужно не критического доверия к научным именам, чтобы из суммы громких фамилий вывести методологию эпохи!

Единой основной методологии эпохи нет, а на деле есть система борющихся, глубоко враждебных методологических принципов, исключаящих друг друга, и у каждой теории — Павлова, Эйнштейна — есть своя методологическая ценность, и выносить за скобки общую методологию эпохи и растворять в ней марксизм — значит преобразовывать не только вид, но и сущность марксизма.

Но таким же преобразованиям неизбежно подвергается и фрейдизм. Сам Фрейд был бы очень удивлен, узнав, что психоанализ — система монистической психологии и что он «методологически продолжает... исторический материализм» (Б. Д. Фридман, 1925, с. 159). Ни один психоаналитический журнал, конечно, не напечатал бы статей Лурия и Фридмана. Это глубоко важно. Ведь получается очень странное положение: Фрейд и его школа нигде не заявляют себя ни монистами, ни материалистами, ни диалектиками, ни продолжателями исторического материализма. А им заявляют: вы—и то, и другое, и третье; вы сами не знаете, кто вы. Конечно, такое положение можно себе представить, в нем нет ничего невозможного, но оно требует четкого выяснения методологических основ этого учения, как они представляются его авторам и ими развиты, а затем доказательного опровержения этих основ и указания на то, каким же чудом, из каких основ развил психоанализ систему чуждой его авторам методологии. Вместо этого без единого анализа основных понятий Фрейда, без критического взвешивания и просвечивания его предпосылок и исходных точек, без критического освещения генезиса его идей, даже без простой справки о том, как он сам представляет философские основы своей системы,— путем простого формально-логического наложения признаков утверждается тождество двух систем.

Но, может быть, эта формально-логическая характеристика двух систем верна? Мы видели уже, как извлекается из марксизма его доля в общей методологии эпохи, в которой все примерно и наивно приведено к одному знаменателю: раз и Эйнштейн, и Павлов, и Маркс — наука, значит, в них есть общий фундамент. Но еще большие искажения претерпевает при этом фрейдизм. Я не говорю уже о лишении его механическим способом центральной идеи, как то делает А. Б. Залкинд (1924); в его статье она обходится молчанием — тоже примечательно. Но вот монизм психоанализа — Фрейд стал бы с этим спорить. Где он, в каких словах, в связи с чем перешел на почву философского монизма, о котором идет речь в статье? Разве всякое сведение некоторой группы фактов к эмпирическому единству есть монизм? Напротив того, Фрейд везде стоит на почве признания психического — бессознательного как особой 'Силы, не сводимой ни к чему другому. Далее, почему этот монизм материалистичен в философском смысле? Ведь медицинский материализм,

признающий влияние отдельных органов и т. п. на психические образования, еще очень далек от философского. Понятие его в философии марксизма имеет определенный, прежде всего гносеологический смысл; а именно гносеологически Фрейд стоит на почве идеалистической философии. Ведь это факт, не только не опровергнутый, но и не рассмотренный авторами «совпадения», что учение Фрейда о первичной роли слепых влечений, бессознательного, отражающегося в искаженном виде в сознании, восходит непосредственно к идеалистической метафизике воли и представления Шопенгауэра. В крайних своих выводах сам Фрейд отмечает, что он в гавани Шопенгауэра; но и в основных предпосылках, как и в определяющих линиях системы, он связан с философией великого пессимиста, как может показать простейший анализ.

И в «деловых» своих работах психоанализ обнаруживает глубоко статические, а не динамические, консервативные, антидиалектические и антиисторические тенденции. Он сводит высшие психические процессы — личные и коллективные — к примитивным, первобытным, в сущности доисторическим, дочеловеческим корням непосредственно, не оставляя места для истории. Творчество Ф. М. Достоевского раскрывается тем же ключом, что и тотем и табу первобытных племен; христианская церковь, коммунизм, первобытная орда — все в психоанализе выводится из одного источника. Что такие тенденции заложены в психоанализе, свидетельствуют все работы этой школы, трактующие проблемы культуры, социологии, истории. Мы видим, что здесь он не продолжает, а отрицает методологию марксизма. Но и об этом ни слова.

Наконец, третье. Вся психологическая система основных понятий Фрейда восходит к Т. Липпсу. Понятия бессознательного, психической энергии, связанной с определенными представлениями, стремлений как основы психики, борьбы стремлений и вытеснения, аффективной природы сознания и т. д. Иначе говоря, психологические корни Фрейда уходят в спиритуалистические пласты психологии Липпса. Как же можно, говоря о методологии Фрейда, не посчитаться нисколько с этим?

Итак, откуда растет Фрейд и куда растет его система, мы видим: от Шопенгауэра и Липпса к Кольнаи и психологии масс^{1*}. Но нужна чудовищная натяжка, чтобы, прилагая систему психоанализа, умолчать о метапсихологии, о социальной психологии*, о теории сексуальности Фрейда. В результате человек, не знающий Фрейда, получил бы самое превратное представление о нем из такого изложения системы. Сам Фрейд протестовал бы прежде всего против

* Любопытно, что не только критики Фрейда создают за него новую социальную психологию, но и рефлексологи (А. Б. Залкинд) отклоняют попытки рефлексологии «проникнуть в область социальных явлений, объяснить их собою», как и отдельные общепсихологические ее притязания, как и метод исследования «кое-где» (А. Б. Залкинд, 1924).

названия системы. По его мнению, одно из величайших достоинств психоанализа и его автора — то, что он сознательно избегает системы (1925). Сам Фрейд отклоняет «монизм» психоанализа: он не настаивает на признании исключительности и даже первого места за открытыми им факторами; он не стремится вовсе «дать исчерпывающую теорию душевной жизни человека», но требует только, чтобы применяли его положения для дополнения и корректуры нашего знания, приобретенного любым иным путем (там же). В другом месте он говорит, что психоанализ характеризует его технику, а не предмет, в третьем — о временности психологической теории и замене ее органической.

Все это может легко ввести в заблуждение: может показаться, что психоанализ действительно не имеет системы и его данные можно вносить для корректуры и дополнения в любую систему знания, приобретенного любым путем. Но это глубоко неверно. Психоанализ не имеет априорной, сознательной теории-системы; как и Павлов, Фрейд слишком многое открыл, чтобы создать отвлеченную систему. Но как герой Мольера, сам того не подозревая, всю жизнь говорил прозой, так и Фрейд, исследователь, создавал систему: вводя новое слово, согласуя один термин с другим, описывая новый факт, делая новый вывод,— он везде попутно, шаг за шагом создавал систему. Это означает только, что структура его системы глубоко своеобразная, темная и сложная, в которой очень трудно разобраться. Гораздо легче ориентироваться в сознательных, отчетливых, освобожденных от противоречий, осознающих своих учителей, приведенных к единству и логической стройности методологических системах; гораздо труднее правильно оценить и вскрыть истинную природу бессознательных методологий, складывающихся стихийно, противоречиво, под различнейшими влияниями, а именно к таким принадлежит психоанализ. Поэтому психоанализ требует сугубо тщательного и критического методологического анализа, а не наивного наложения признаков двух различных систем.

«Человеку, не искушенному в научно-методологических вопросах,— говорит В. Н. Ивановский,— метод всех наук представляется одним и тем же» (1923, с. 249). Больше всего страдала от такого непонимания дела психология. Ее всегда приписывали то к биологии, то к социологии, но редко кто подходил к оценке психологических законов, теорий и т. п. с критерием психологической же методологии, т. е. а интересом к психологической научной мысли как таковой, к ее теории, ее методологии, ее источникам, формам и обоснованиям. И поэтому в нашей критике чужих систем, в оценке их истинности мы лишены самого главного: ведь правильная оценка знания в отношении его доказанности и несомненности может вытекать лишь из понимания его методологической обоснованности (В. Н. Ивановский, 1923). И поэтому правило сомневаться во всем, ничего не принимать на веру, спрашивать у всякого положения о его основаниях и источниках знания есть первое правило и методология науки. Оно страхует нас от еще большей ошибки — не только считать метод всех наук одинаковым, но и состав каждой науки представлять себе как однородный.

«Каждая отдельная наука представляется неопытной мысли, так сказать, в одном плане: раз наука есть достоверное, несомненное знание, то все в ней должно быть достоверно; все ее содержание должно добываться и доказываться одним и тем же методом, дающим достоверное знание. Между тем на самом деле это вовсе не так: во всякой науке есть с несомненностью констатированные отдельные факты (и группы сходных фактов), неопровержимо установленные общие положения и законы, но есть и предположения, гипотезы, иногда имеющие временный,

провизорный характер, иногда же отмечающие последние пределы нашего знания (в данную эпоху, по крайней мере); есть то более, то менее несомненные выводы из неизбежно установленных положений; есть построения, то расширяющие пределы нашего знания, то имеющие значение сознательно вводимых «фикций»; есть аналогии, приблизительные обобщения и т. д., и т. д. Наука разнородна, и понимание этого факта имеет самое существенное значение для научной культуры человека. Каждое отдельное научное положение имеет свою собственную, ему только присущую и зависящую от способа и степени его методологической обоснованности степень достоверности, и наука — в методологическом освещении — представляет собой не одну сплошную однородную поверхность, а мозаику положений различных степеней достоверности» (там же, с. 250).

Вот 1) смешение метода всех наук (Эйнштейн, Павлов, О. Конт, Маркс), 2) сведение всего разнородного состава научной системы в одну плоскость, «в одну сплошную однородную поверхность» и составляют основные ошибки второго способа сращивания систем. Сведение личности к деньгам, чистоплотности, упрямству и еще 1000 разнообразных вещей к анальной эротике (А. Р. Лурия, 1925) еще не есть монизм; а по природе и степени достоверности смешивать это положение с принципами материализма есть величайшее заблуждение. Принцип, вытекающий из этого положения, общая идея, стоящая за ним, методологическое его значение, метод исследования, предписываемый им, глубоко консервативны: как каторжник к тачке, характер в психоанализе прикован к детской эротике, человеческая жизнь в самом существенном предопределена детскими конфликтами, она вся есть изживание эдипова комплекса и т. п., культура и жизнь человечества опять вплотную приближены к примитивной жизни. Вот это умение отделить ближайшее видимое значение факта от его истинного значения есть первое необходимое условие анализа. Я отнюдь не хочу сказать, что все в психоанализе противоречит марксизму. Я хочу сказать только, что этим вопросом по существу я и не занимаюсь здесь вовсе. Я указываю только на

то, как должно (методологически) и как нельзя (некритически) сращивать две системы идей.

При некритическом подходе каждый видит то, что он хочет видеть, а не то, что есть: марксист находит в психоанализе монизм, материализм, диалектику, которых там нет; физиолог, как А. К. Ленц, полагает, что «психоанализ — система, лишь по названию психологическая; в самом же деле он объективен, физиологичен» (1922, с. 69). А методолог Бинсвангер, кажется, единственный среди психоаналитиков, посвящая свою работу Фрейдю, отмечает, что именно психологическое в его понимании, т. е. антифизиологическое, составляет заслугу Фрейда в психиатрии. «Но,— прибавляет он,— это знание не знает еще само себя, т. е. оно не обладает пониманием своих основных понятий, своего логоса» (1922, с. 5).

Поэтому особенно трудно изучать знание, которое еще не осознало себя и своего логоса. Это, конечно, отнюдь не значит, что бессознательное не следует изучать марксистам, так как основные концепции Фрейда противоречат диалектическому материализму, напротив, именно потому, что разрабатываемая психоанализом область разрабатывается негодными средствами, надо ее отвоевать для марксизма, надо ее разрабатывать средствами истинной методологии, ибо иначе, если бы в психоанализе все совпадало с марксизмом, то в нем нечего было бы менять, психологи могли бы его развивать именно в качестве психоаналитиков, а не марксистов. А для разработки надо прежде всего отдать себе отчет в методологической природе каждой идеи, каждого положения. И тогда при этом условии самые метапсихологические идеи могут быть интересны и поучительны, например учение Фрейда о влечении к смерти.

В предисловии, которое я предпослал переводу книги Фрейда на эту тему, я пытался показать, что при всей спекулятивной природе этого положения, при малой убедительности его фактических подкреплений (травматический невроз и повторение в детской игре неприятных переживаний), при всей головокружительной парадоксальности и противоречии с общепринятыми биологическими идеями, при явном совпадении в выводах с философией нирваны — при всем том, несмотря на все его конструктивное понятие, фиктивное построение влечения к смерти отвечает потребности современной биологии в овладении идеей смерти, как математика нуждалась в свое время в понятии отрицательного числа. Я выставил тезис, что понятие жизни в

биологии доведено до большой ясности, наука им овладела, она знает, как с ним работать, как исследовать и понимать живое, но с понятием смерти она не справилась, на месте этого понятия зияет дыра, пустое место, она понимается только как контрадикторная противоположность жизни, как нежизнь, короче — небытие. Но смерть есть факт, имеющий и свой положительный смысл, она есть особый вид бытия, а не только небытие; она есть некоторое нечто, а не круглое ничто. И вот этого положительного смысла смер-

ти биология не знает. В самом деле, смерть есть всеобщий закон живого; невозможно себе вообразить, чтобы это явление не было ничем представлено в организме, т. е. в процессах жизни. Трудно поверить, чтобы смерть не имела смысла или имела только отрицательный смысл.

Сходное мнение высказывает Энгельс. Он ссылается на мнение Гегеля, что научна та физиология, которая не рассматривает смерть как существенный момент жизни, и не понимает, что отрицание жизни по существу содержится в самой жизни, так что жизнь всегда мыслится в соотношении со своим необходимым результатом, заключающимся в ней постоянно в зародыше, а смертью объявляет, что диалектическое понимание жизни именно к этому и сводится. «Жить значит умирать» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 611).

Именно эту мысль защищал я в упомянутом предисловии к книге Фрейда: необходимость с принципиальной точки зрения овладеть понятием смерти в биологии и обозначить — пусть пока алгебраическим «х» или парадоксальным «влечением к смерти» — то неизвестное еще, что несомненно существует, чем тенденция к смерти представлена в процессах организма. При всем том найденное Фрейдом решение этого уравнения я не объявил большим трактатом в науке или дорогой для всех, но альпийской тропинкой над пропастями для свободных от головокружения. Я заявил, что науке нужны и такие книги: не открывающие истин, а учащие исканию истины, хотя бы и не найденной. Я там же со всей решительностью заявил, что значение этой книги не зависит от фактической проверки ее достоверности: принципиально она верно ставит вопрос. И для постановки таких вопросов, говорил я, нужно больше творчества, чем для очередного наблюдения по установленному образу в любой науке (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия, 1925).

И глубоким непониманием методологической проблемы, заключенной в этой оценке, полным доверием к внешним признакам идей, наивным и некритическим страхом перед физиологией пессимизма было суждение об этой книге одного из рецензентов, решившего сплеча: раз Шопенгауэр — значит пессимизм. Он не понял, что есть проблемы, до которых нельзя долететь, но надо дойти, хромя, и что в этих случаях не грех хромать, как откровенно говорит Фрейд. Но кто увидит в этом только хромоту, тот методологически слеп. Нетрудно ведь было бы указать, что Гегель идеалист, об этом воробьи кричат с крыши; нужна была гениальность, чтобы увидеть в этой системе идеализм, стоящий на голове материализма, т. е. методологическую правду (диалектику) отделить от фактической лжи, увидеть, что Гегель, хромя, шел к правде.

Таков — на единичном примере — путь к овладению научными идеями: надо подняться над их фактическим содержанием и испытать их принципиальную природу. Но для этого нужно иметь точку опоры вне этих идей. Стоя на почве этих же идей обеими ногами, оперируя добытыми при их помощи понятиями, невозможно стать вне их. Чтобы критически отнестись к чужой системе, надо прежде всего иметь собственную психологическую систему принципов. Судить Фрейда в свете принципов, добытых у Фрейда же, — значит заранее оправдать его. И вот такой способ овладения чужими идеями образует третий тип соединения идей, к которому мы и переходим.

Опять на единичном примере легче всего вскрыть и показать характер нового методологического подхода. В лаборатории Павлова был поставлен для экспериментального разрешения вопрос о переводе следовых условных раздражителей и следовых условных тормозов в наличные условные раздражители. Для этого надо «изгнать торможение», выработанное при следовом рефлексе. Как это сделать? Для достижения этой цели Ю. П. Фролов прибегнул к аналогии с некоторыми приемами школы Фрейда. При разрушении тормозных устойчивых комплексов он воссоздавал именно ту обстановку, в которой эти комплексы были ранее выработаны. И опыт удался. Методологический прием, лежавший в основе этого опыта, я и считаю образцом правильного подхода к теме Фрейда и вообще к чужим положениям.

Попытаемся описать этот прием. Прежде всего: проблема была выдвинута в ходе собственных исследований природы внутреннего торможения; задача поставлена, сформулирована и осознана в свете собственных принципов; теоретическая тема экспериментальной работы и ее значение были осмыслены в понятиях школы Павлова. Что такое следовой рефлекс — мы знаем, что такое наличный — тоже знаем; перевести один в другой — значит изгнать торможение и т. д., т. е. весь механизм процесса мыслим в совершенно определенных и однородных категориях. Аналогия с катарсисом имела чисто эвристическое значение: она укоротила путь собственных поисков и привела кратчайшим путем к цели. Но она принята только как допущение, которое немедленно было проверено опытом. И после решения собственной задачи автор делает третий и последний вывод о том, что явления, описываемые Фрейдом, допускают экспериментальную проверку на животных и ждут дальнейшей детализации по методу условных слюнных рефлексов.

Проверить Фрейда идеями Павлова — это совсем не то, что его же собственными идеями; но и эта возможность установлена не путем анализа, а путем эксперимента. Самое главное заключается в том, что, натолкнувшись в ходе собственных исследований на явления, аналогичные описанным школой Фрейда, автор ни на минуту не перешел на чужую почву, не положился на чужие данные, но продвинул, используя их, вперед свое исследование. Его открытие имеет смысл, свою цену, свое место, свое значение в системе Павлова, а не Фрейда. В точке пересечения обеих систем, в точке их встречи, оба круга касаются — и одна их точка принадлежит сразу обоим, но ее место, смысл и цена определяются ее положением в первой системе. Этим исследованием сделано новое открытие, добыт новый факт, изучена новая черта — все в учении об условных рефлексах, а не в психоанализе. Так исчезло всякое «почти чудесное» совпадение!

Стоит только сравнить, как ту же оценку идей катарсиса для системы рефлексологии путем открытия словесного совпадения делает Бехтерев, чтобы увидеть всю глубину различия этих двух способов. Здесь соотношение двух систем тоже прежде всего устанавливается на катарсисе — ущемленном аффекте заторможенного мимико-соматического порыва. Разве это не разряд того рефлекса, который, будучи задержан, отягощал личность, делал ее самое «связанною», больною, тогда как с разрядом в форме рефлекса катарсиса происходит естественное разрешение болезненного состояния? «Разве выплаканное горе — не разряд задержанного рефлекса?» (В. М. Бехтерев, 1923, с. 380).

Здесь что ни слово — то перл. Мимико-соматический *порыв* — что может быть яснее и точнее? Избегая языка субъективной психологии, Бехтерев не побрезгал языком обывательским, отчего термин Фрейда едва ли стал яснее. Как это задержанный рефлекс «отягощал» личность, делал ее связанной? Почему выплаканное горе — разряд *задержанного* рефлекса; как быть, если человек плачет в самую минуту горя? Наконец, рядом утверждается ведь, что мысль есть заторможенный рефлекс, что сосредоточение, связанное с задержкой нервного тока, сопровождается сознательными явлениями. О спасительное торможение! Оно объясняет сознательные явления в одной главе и бессознательные — в следующей!

Все это ясно указывает на то, что в проблеме бессознательного надо различать методологическую и эмпирическую проблему, т. е. психологический вопрос и вопрос самой психологии, — то, с чего мы начали этот раздел. Некритическое соединение того и другого приводит к грубому искажению всего вопроса. Симпозиум о бессознательном (1912) показывает, что принципиальное решение этого вопроса выходит из границ эмпирической психологии и непременно бывает связано с общими философскими убеждениями. Примем ли мы вместе с Ф. Brentano, что бессознательного нет, или вместе с Мюнстербергом, что оно есть просто физиологическое, или с Шуберт-Зольдерном, что оно гносеологически необходимая категория, или с Фрейдом, что оно есть сексуальное — во всех этих случаях мы переступим в аргументации и выводах границы эмпирического исследования.

Из русских авторов Э. Дале оттеняет гносеологические мотивы, приведшие к образованию понятия бессознательного. Именно стремление отстоять самостоятельность психологии как объясняющей науки против узурпации физиологических методов и принципов лежит, по его

мнению, в основе этого понятия. Требование, чтобы психическое объяснялось из психического, а не из физиологического, чтобы психология в анализе и описании фактов оставалась сама

338

собой, в своих собственных пределах, хотя бы для этого пришлось вступить на путь широких гипотез,— вот что породило понятие бессознательного. Далёк отмечает, что психологические построения, или *гипотезы*, представляют собой только мысленное продолжение описания *однородных* явлений в одной и той же самостоятельной системе действительности. Задачи психологии и теоретико-познавательные требования предписывают ей бороться против узурпационных попыток физиологии при помощи бессознательного. Психическая жизнь протекает с перерывами, она полна пробелов. Что становится с сознанием во время сна, с воспоминаниями, которые мы сейчас не вспоминаем, с представлениями, которые мы сейчас не сознаем? Чтобы объяснить психическое из психического, чтобы не перейти в другую область явлений — в физиологию, чтобы восполнить перерывы, пробелы, пропуски в жизни психического, мы должны предположить, что они продолжают существовать в особом виде — *бес-сознательно-психического*. Такое понимание бессознательного как необходимого предположения и гипотетического продолжения и восполнения психического опыта развивает и В. Штерн (1924).

Э. Далёк различает в проблеме две стороны: фактическую и гипотетическую, или методологическую, которая определяет познавательную, или методологическую, ценность категории подсознательного для психологии. Задача ее — выяснить смысл этого понятия, сферу охватываемых им явлений и роль его для психологии как объясняющей науки. Вслед за Иерусалемом для автора это есть прежде всего категория, или прием мысли, без которого нельзя обойтись в объяснении душевной жизни, и потом уже — особая область явлений. Он совершенно правильно формулирует, что бессознательное есть понятие, создаваемое из данных несомненного психического опыта и на основе необходимого его гипотетического восполнения. Отсюда очень сложная природа каждого положения, оперирующего с этим понятием: в *каждом* положении надо различать, что в нем есть от данных несомненного психического опыта и что — от гипотетического восполнения и какова степень достоверности того и другого. В рассмотренных выше критических работах то и другое, обе стороны проблемы смешиваются: гипотеза и факт, принцип и эмпирическое наблюдение, фикция и закон, построение и обобщение — все смешано в одну общую кашу.

Самое важное — не рассмотрен основной вопрос: Ленц и Лурия уверяют Фрейда, что психоанализ — физиологическая система; но ведь сам Фрейд принадлежит к противникам физиологической концепции бессознательного. Далёк совершенно прав, говоря, что этот вопрос о психологической или физиологической природе бессознательного есть *первая*, важнейшая фаза всей проблемы. Прежде чем описывать и классифицировать явления подсознательного во имя психологических задач, мы должны знать, оперируем ли мы при этом чем-то физиологическим или психическим, необходимо до-

339

казать, что бессознательное есть вообще психическая реальность. Иначе говоря, прежде чем решать проблему бессознательного как психологический вопрос, надо решить ее как вопрос самой психологии.

Еще ярче сказывается необходимость принципиальной разработки понятий в общей науке — в этой алгебре частных наук — и ее роль для частных дисциплин на заимствованиях из области *других* наук. Здесь, с одной стороны, мы имеем как будто лучшие условия для перенесения результатов одной науки в систему другой, потому что степень достоверности, ясности, принципиальной разработанности заимствуемого положения или закона обычно много выше, чем в описанных нами случаях. Например, мы вводим в систему психологического объяснения закон, установленный в физиологии, эмбриологии, биологический принцип, анатомическую, гипотезу, этнологический пример, историческую классификацию и т. п. Положения и конструкции этих широко развитых, принципиально обоснованных наук, конечно, неизмеримо точнее разработаны методологически, чем положения психологической школы, разрабатываемой при помощи вновь созданных понятий, не приведенных в систему, совершенно новые

области, например школы Фрейда, не осознавшей еще себя. Мы заимствуем в этом случае более выработанный продукт, оперируем с более определенными, точными и ясными величинами; опасности ошибки уменьшаются, вероятность успеха растет.

С другой стороны, так как привнесение здесь совершается из других наук, то материал оказывается более чужеродным, методологически разнородным и условия усвоения его становятся более затруднительными. Это облегчение и затруднение условий по сравнению с рассмотренными выше и составляют тот необходимый прием варьирования в анализе, который в теоретическом анализе заменяет реальное варьирование в эксперименте.

Остановимся на факте в высшей степени парадоксальном с первого взгляда, а потому очень удобном для анализа. Рефлексология, которая устанавливает во всех областях столь чудесные совпадения своих данных с данными субъективного анализа и которая хочет построить свою систему на фундаменте точного естествознания, удивительным образом вынуждена протестовать именно против перенесения естественнонаучных законов в психологию.

Н. М. Щелованов, исследуя методы генетической рефлексологии, с безусловной и неожиданной для его школы основательностью отвергает подражание естественным наукам в форме перенесения в субъективную психологию основных методов, применение которых в естествознании дало огромные результаты, но мало пригодные

340

для разработки проблем субъективной психологии*. И. Гербарг и Г. Фехнер¹⁶ механически перенесли математический анализ, а В. Вундт — физиологический эксперимент в психологию. В. Прейер¹⁷ выдвинул проблему психогенеза по аналогии с биологией, а затем С. Холлом и другими был заимствован в биологии принцип Мюллера — Геккеля и бесконтрольно применен не только как методологический принцип, но и как принцип объяснения «душевного развития» ребенка. Казалось бы, говорит автор, что можно возразить против применения испытанных и плодотворных методов? Но использование их возможно лишь в том случае, если проблема поставлена верно и метод отвечает природе изучаемого объекта. Иначе получается иллюзия научности (ее характерный пример — русская рефлексология). Естественнонаучное покрывало, которое, по выражению И. Петцольда¹⁸, набрасывается на самую отсталую метафизику, не спасло ни Гербарга, ни Вундта: ни математические формулы, ни точная аппаратура не спасли неточно поставленную проблему от неудачи. '

Вспомним Мюнстерберга и его замечание о последнем десятичном знаке, выводимом в ответе на ложный вопрос. Биогенетический закон, разъясняет автор, в биологии является теоретическим обобщением массы фактов, а применение его в психологии есть результат поверхностной спекуляции, основанной исключительно на аналогии между различными областями фактов. (Не так ли рефлексология — без собственного исследования — путем аналогичной спекуляции берет с живого и мертвого — с Эйнштейна и с Фрейда готовые модели для своих построений?) И затем применение принципа не в качестве рабочей гипотезы, а готовой, будто бы научно установленной для данной области фактов теории в качестве объяснительного принципа увенчивает эту пирамиду ошибок.

Не будем входить, как и автор этого мнения, в рассмотрение вопроса по существу; он имеет богатую литературу, и русскую в том числе; рассмотрим его в качестве иллюстрации того, как многие ложно поставленные психологией вопросы приобретают видимость научности благодаря заимствованиям из естественных наук. Н. М. Щелованов в результате методологического анализа приходит к заключению, что генетический метод принципиально невозможен в эмпирической психологии и что из-за этого меняются соотношения между психологией и биологией. Но почему в детской психологии проблема развития получила ложную постановку, которая привела к колоссальной бесполезной затрате труда? По мнению Щелованова, психология детства не может дать ничего, кроме того, что уже содержится в общей психологии. Но общей психологии как единой системы нет, и эти теоретические противоречия делают невозмож-

* Аналогичные мысли подробно были развиты Щеловановым в его работе 1929 г. —
Примеч. ред.

ной детскую психологию. Теоретические предпосылки в очень замаскированной форме и незаметно для самого исследователя вполне определяют весь способ обработки эмпирических данных, истолкование получаемых при наблюдении фактов в соответствии с теорией, которой придерживается тот или иной автор. Вот лучшее опровержение мнимого эмпиризма естественных наук. Благодаря этому, оказывается, нельзя переносить и факты из одной теории в другую: казалось бы, что факт есть всегда факт, что один и тот же объект — ребенок — и один и тот же метод — объективное наблюдение — только при разных конечных целях и исходных предпосылках позволяют перенесение фактов из психологии в рефлексологию. Ошибается автор только в двух положениях.

Первая его ошибка заключается в том, что положительные результаты детская психология получала только при применении общебиологических, но не психологических принципов, как при развитой К. Гроосом теории игры. На самом деле это один из лучших образцов не заимствования, а чисто психологического, сравнительно-объективного изучения — методологически безукоризненного и прозрачного, внутренне последовательного — от первичного собирания и описания фактов до последних теоретических, обобщений. Гроос дал биологии теорию игры, созданную психологическим методом, а не взял ее у биологии; он не решил свою проблему в биологическом свете, т. е. ставя себе и общепсихологические задачи. Верно, значит, как раз обратное: ценных результатов в теории детская психология достигала именно тогда, когда не заимствовала, а шла своим путем. Ведь против заимствований говорит все время автор. С. Холл, заимствовавший у Э. Геккеля, дал психологии ряд курьезов и натянутых бессмысленных аналогий, а Гроос, шедший своим путем, дал много той же биологии — не меньше закона Геккеля. Вспомним еще теорию языка Штерна» теорию детского мышления Бюлера и Коффки, теорию ступеней развития Бюлера, теорию дрессировки Торндайка: все это психология чистейшего стиля. Отсюда и неверное следствие: роль психологии детства, конечно, не сводится к накоплению фактических данных и к их предварительной классификации, т. е. к подготовительной работе. Как раз к этому может и должна неизбежно свестись роль логических принципов, которые развиты Щеловановым совместно с Бехтеревым. Ведь у новой дисциплины нет идеи детства, нет концепции развития, нет цели исследования, т. е. проблемы детского поведения и личности, но только принцип объективного наблюдения, т. е. хорошее техническое правило; однако этим оружием никто не открыл большой истины.

С этим связана и вторая ошибка автора: само непонимание положительного значения психологии и недооценка ее роли вытекает из наиважнейшего методологически-младенческого представления, будто изучать можно только то, что нам дано в непосредственном

342

опыте. Вся его «методологическая» теория построена на одном силлогизме: 1) психология изучает сознание, 2) в непосредственном опыте нам дано сознание взрослого; «эмпирическое изучение филогенетического и онтогенетического развития сознания невозможно»; 3) следовательно, детская психология невозможна.

Но это глубочайшее заблуждение, будто наука может изучать только то, что дано в непосредственном опыте. Как психолог изучает бессознательное, историк и геолог — прошлое, физик-оптик — невидимые лучи, филолог — древние языки? Изучением по следам, по влияниям, методом интерпретации и реконструкции, методом критики и нахождения значения создано не менее, чем методом прямого «эмпирического» наблюдения. В. Н. Ивановский разъяснил это прекрасно в методологии наук именно на примере психологии. Даже в науках экспериментальных непосредственный опыт играет все меньшую роль. М. Планк 19 говорит: объединение всей системы теоретической физики достигается благодаря освобождению от антропоморфных элементов, в частности от специфических чувственных ощущений. В учении о свете, замечает Планк, и вообще о лучистой энергии физика работает такими методами, что «человеческий глаз является при этом совершенно выключенным, он выступает только в качестве случайного, правда, очень чувствительного прибора, так как он воспринимает лучи внутри небольшой области спектра, едва достигающей ширины октавы. Для остального спектра выступают на месте глаза

другие воспринимающие и измеряющие приборы, как, например, волновой детектор, термоэлемент, барометр, радиометр, фотографическая пластинка, ионизационная камера. Таким образом, отделение основного физического понятия от специфического чувственного ощущения произошло в оптике так же, как в механике, где понятие силы уже давно потеряло свою первоначальную связь с мускульными ощущениями» (1911, с. 8, 112—113).

Таким образом, физика изучает именно не видимое глазом; ведь, если согласиться вслед за автором (Н. М. Щеловановым.— Ред.) со Штерном, будто детство для нас навеки потерянный рай, будто вникнуть вполне и без остатка в особые свойства и структуру детской души нам, взрослым, уже невозможно, потому что она не дана нам в непосредственном переживании, то необходимо признать, что непосредственно недоступные нашему глазу лучи тоже навеки потерянный рай, испанская инквизиция — навеки потерянный ад и пр., и пр. Но в том-то и дело, что научное познание и непосредственное восприятие нимало не совпадают. Пережить детское впечатление мы так же не можем, как увидеть французскую революцию, но ведь ребенок, который переживает свой рай со всей непосредственностью, и современник, который своим глазом видел важнейшие эпизоды революции, несмотря на это, дальше нас от научного познания этих фактов. Не только науки о культуре, но и науки о природе

343

строят свои понятия принципиально независимо от непосредственного опыта; вспомним слова Энгельса о муравьях и о границах нашего глаза.

Как поступают науки при изучении того, что не дано нам непосредственно? Говоря общо, они его конструируют, воссоздают предмет изучения методом истолкования или интерпретации его следов или влияний, т. е. косвенно. Так, историк истолковывает следы — документы, мемуары, газеты и пр., и все же история есть наука именно о прошлом, реконструированном по его следам, но не о следах прошлого, о революции, а не о ее документах. Так же и в детской психологии: разве детство, детская душа, недоступная нам, не оставляет следов, не проявляется вовне, не открывается? Вопрос только в том, как, каким методом толковать эти следы — можно ли толковать их по аналогии со следами взрослого? И дело, значит, в том, чтобы найти правильное толкование, но не в том, чтобы отказаться от толкования вовсе. Ведь и историки знают не одно ошибочное построение, основанное на верных документах, но на ложных толкованиях. Что же за вывод отсюда? Неужели тот, что история — «навек потерянный рай»? Но ведь та же логика, которая называет детскую психологию потерянным раем, та же логика заставляет сказать это и об истории. И если бы историк, или геолог, или физик рассуждали, как рефлексолог, они сказали бы: так как прошлое человечества и Земли для нас недоступно (детская душа) непосредственно, непосредственно же нам доступно только настоящее (сознание взрослого), многие же ложно толкуют прошлое по аналогии с настоящим или как маленькое настоящее (ребенок — маленький взрослый), то история и геология субъективны, невозможны; возможна только история настоящего времени (психология взрослого человека), а историю прошлого можно изучать только как науку о следах прошлого, о документах и т. п. как таковых, но не о прошлом, как таковом (приемами изучения рефлексов без всякого истолкования их).

В сущности, с этим догматом — о непосредственном опыте как о едином источнике и естественных пределах научного знания — стоит и падает вся теория и субъективного и объективного методов. Введенский и Бехтерев растут из одного корня: и тот и другой полагают, что изучать наука может только то, что дано в самонаблюдении, т. е. в непосредственном восприятии психологического. Одни, доверяя этому глазу души, строят всю науку применительно к его свойствам и границам его действия; другие, не доверяя ему, хотят изучать только то, что можно пощупать настоящим глазом. Поэтому я и говорю, что рефлексология методологически построена совершенно по тому же принципу, по которому историю надо было определить как науку о документах прошлого. Рефлексология, благодаря многим плодотворным принципам естественных наук, оказалась глубоко прогрессивным течением в психологии, но как теория ме-

344

тогда она глубоко реакционна, потому что возвращает нас вспять к наивно-сенсуалистическому предубеждению, будто изучать можно только то и постольку, что и поскольку мы воспринимаем.

Точно так же как физика освобождается от антропоморфных элементов, т. е. от специфических чувственных ощущений, и работает так, что глаз оказывается совершенно выключенным, так же психология должна работать с понятием психического, чтобы непосредственное самонаблюдение было выключено, как выключено мускульное ощущение в механике и зрительное в оптике. Субъективисты полагают, что опровергли объективный метод, когда показали, что в понятиях поведения генетически содержатся зерна самонаблюдения — Г. И. Челпанов²⁰ (1925), С. В. Кравков²¹ (1922), Ю. В. Португалов²² (1925). Но генетическое происхождение понятия ничего не говорит о его логической природе: и понятие силы в механике восходит генетически к мускульному ощущению.

Вопрос о самонаблюдении есть технический вопрос, а не принципиальный: оно есть инструмент в ряду других инструментов, как глаз у физиков. Использовать его нужно в меру его полезности, но никаких принципиальных приговоров над ним — о границах познания, или достоверности, или природе знания, определяемых им, — выносить нельзя. Энгельс показал, как мало естественное устройство глаза определяет пределы познания световых явлений; Планк говорит то же от имени современной физики. Отделение основного психологического понятия от специфического чувственного ощущения — очередная задача психологии. При этом само это ощущение, само самонаблюдение должно быть объяснено (как и глаз) из постулата, метода и всеобщего принципа психологии, оно должно превратиться в частную проблему психологии.

Если так, возникает вопрос о природе истолкования, т. е. косвенного метода. Обычно говорят: история толкует следы прошлого, но физика наблюдает при помощи инструментов столь же непосредственно, как и глазом, невидимое. Инструменты суть удлинённые органы ученого: микроскоп, телескоп, телефон и пр. в конце концов делают предметом непосредственного опыта и видимым невидимое; физика не толкует, а видит.

Но это мнение ложно. Методология научного аппарата давно выяснила принципиально новую роль инструмента, которая не везде видна. Уже термометр может служить примером того принципиально нового, что вносит в метод науки пользование инструментом: на термометре мы читаем температуру; он не усиливает и не удлиняет ощущение теплоты, как микроскоп продолжает глаз, а эмансипирует нас вовсе от ощущения при изучении теплоты; термометром может пользоваться и лишенный этого чувства, а слепой не может пользоваться микроскопом. Термометрирование есть чистый образец косвенного метода: мы изучаем ведь не то, что мы видели (как в микроскоп), не подъем ртути, не расширение спирта,

345

а теплоту и ее изменения, обозначенные ртутью или спиртом; мы истолковываем показания термометра, мы реконструируем изучаемое явление по его следам, по его влиянию на расширение тела. Так же устроены и все инструменты, о которых говорит Планк как о средстве изучения невидимого. Толковать, следовательно, — значит воссоздавать явление по его следам и влияниям, основываясь на прежде установленных закономерностях (в данном случае — на законе расширения тел от нагревания). -Никакой принципиальной разницы между использованием термометром и толкованием в истории, психологии и т. д. нет. То же относится и ко всякой науке: она независима от чувственного восприятия.

К. Штумпф говорит о слепом математике Соудерсоне, написавшем учебник геометрии; А. М. Щербина²³ рассказывает, что его слепота не мешала ему объяснять зрячим оптику (1908). И разве все инструменты, упоминаемые Планком, не могут быть приспособлены для слепого, как уже есть часы, и термометры, и книги для слепых, так что оптикой мог бы заниматься и слепой: это вопрос техники, но не принципа.

К. Н. Корнилов²⁴ (1922) прекрасно показал: 1) расхождение в воззрениях на методическую сторону постановки эксперимента в значительной степени способствует возникновению конфликтов, которые ведут к образованию различных направлений в психологии, так же как различная философия хроноскопа из вопроса о том, в какой комнате помещать этот аппарат при опытах, сделала вопрос обо всем методе и обо всей системе психологии, разделившей школу В.

Вундта от школы О. Кюльпе; 2) экспериментальный метод не внес ничего нового в психологию: для Вундта — он корректив самонаблюдения; для Н. Аха²⁵—данные самонаблюдения можно контролировать только другими данными самонаблюдения, будто ощущение теплоты можно контролировать только другими ощущениями; для Дейхлера — в численных оценках заключена мера правильности интроспекции,— одним словом, эксперимент не расширяет познания, а контролирует его. Психология еще не имеет методологии своей аппаратуры и не поставила еще вопроса об аппарате, который освободил бы нас от интроспекции, как термометр, а не контролировал и усиливал бы ее. Философия хроноскопа есть более трудная вещь, чем его техника. Но о косвенном методе в психологии мы еще будем не раз говорить.

Г. П. Зеленый правильно указывает, что под словом «метод» у нас понимают две различные вещи: 1) методику исследования, технический прием и 2) метод познания, определяющий цель исследования, место науки и ее природу. В психологии метод субъективен, хотя методика может быть частично объективна; в физиологии метод объективен, хотя методика может быть частично субъективна, например в физиологии органов чувств. Эксперимент, прибавим, реформировал методику, но не метод. Отсюда за психологи-

346

ческим методом в естествознании он признает лишь значение диагностического приема.

В этом вопросе завязан узел всех методологических и собственных проблем психологии. Необходимость принципиально выйти за пределы непосредственного опыта есть вопрос жизни и смерти для психологии. Разграничить, разделить научное понятие от специфического восприятия можно только на почве косвенного метода. Возражение, будто косвенный метод уступает непосредственному, глубоко неверно в научном смысле. Именно потому что он освещает не полноту переживания, а лишь одну сторону, он совершает научную работу: изолирует, анализирует, выделяет, абстрагирует одну черту; ведь и в непосредственном опыте мы выделяем часть, подлежащую наблюдению. Кто огорчается тем, что мы не разделяем с муравьями непосредственного переживания химических лучей, тому ничем нельзя помочь, говорит Энгельс, зато мы лучше муравьев знаем природу этих лучей. Но не задача науки — вести к переживанию: иначе вместо науки достаточна была бы регистрация наших восприятий. Собственная же проблема психологии заключена тоже в ограниченности нашего непосредственного опыта, потому что вся психика построена по типу инструмента, который выбирает, изолирует отдельные черты явлений; глаз, который видел бы все, именно поэтому не видел бы ничего; сознание, которое сознавало бы все, ничего бы не сознавало, и самосознание, если бы сознавало все, не сознавало бы ничего. Наш опыт заключен между двумя порогами, мы видим лишь маленький отрезок мира; наши чувства дают нам мир в выдержках, извлечениях, важных для нас. Внутри порогов они опять отмечают не все многообразие применений, а переводят их опять через новые пороги. Сознание как бы прыжками следует за природой, с пропусками, пробелами. Психика выбирает устойчивые точки действительности среди всеобщего движения. Она есть островки безопасности в гераклитовом потоке. Она есть орган отбора, решето, процеживающее мир и изменяющее его так, чтобы можно было действовать. В этом ее положительная роль — не в отражении (отражает и непсихическое; термометр точнее, чем ощущение), а в том, чтобы не всегда верно отражать, т. е. субъективно исказить действительность в пользу организма.

Если бы мы видели все (без порогов абсолютных) и все изменения, не приостанавливающиеся ни на минуту (без порогов относительных), перед нами был бы хаос (вспомним, сколько предметов открывает нам микроскоп в капле воды). Чем был бы тогда стакан воды? а река? Пруд отражает все; камень, в сущности, реагирует на все. Но его реакция равна раздражению: *effectum causa aequat*. Реакция организма «дороже» — она не равна эффекту, она тратит потенциальные силы, она отбирает стимулы. Психика есть высшая форма отбора. Красное, синее, громкое, кислое — это мир, наре-

347

занный на порции. Задача психологии — выяснить, в чем польза того, что глаз не видит многого из известного в оптике. От низших форм реакции к высшим ведет как бы суживающееся отверстие воронки.

Было бы ошибкой думать, будто мы не видим того, что для нас биологически бесполезно. Разве бесполезно было бы нам видеть микробов? Органы чувств явно несут следы того, что они суть органы отбора в первую очередь. Вкус явно есть орган отбора при пищеварении, обоняние — часть дыхательного процесса: пограничные таможенные пункты для опробования входящих извне раздражений. Каждый орган берет мир сит §гапо заНз — со своим коэффициентом спецификации, о котором говорил Гегель, как и показателем отношения, когда качество одного предмета определяет интенсивность и характер количественного воздействия другого качества. Поэтому есть полная аналогия между отбором глаза и дальнейшим отбором инструментами тот и другой суть органы отбора (то, что мы делаем в эксперименте). Так что выход научного познания за пределы восприятия коренится в самой психологической сущности познания.

Отсюда полное принципиальное тождество непосредственной очевидности и аналогии как методов усмотрения научной истины: и то и другое нужно подвергнуть критическому рассмотрению; и то и другое может обмануть и сказать правду. Очевидность вращения Солнца вокруг Земли обманывает нас; аналогия, на которой построен спектральный анализ, ведет к истине. На этом основании некоторыми справедливо защищалась законность аналогии как основного метода зоопсихологии. Это вполне допустимо, надо только указать условия, при соблюдении которых аналогия будет верна, до сих пор аналогия в зоопсихологии приводила к анекдотам и курьезам, потому что ее усматривали там, где ее по самому существу дела не может быть; однако она может привести и к спектральному анализу. Поэтому положение в физике и в психологии принципиально одно и то же — методологически, разница в степени.

Психический ряд дан нам как отрывок: куда исчезают и откуда появляются все элементы психической жизни? Мы вынуждены продолжить известный нам ряд предполагаемым. Именно в этом смысле вводит Г. Геффдинг это понятие, соответствующее понятию потенциальной энергии в физике; поэтому Лейбниц^{2в} ввел бесконечно малые элементы сознания. «Мы вынуждены продолжить в бессознательное жизнь сознания, чтобы не впасть в нелепость» (Г. Геффдинг, 1908, с. 87). Однако для Геффдинга «бессознательное есть предельное понятие науки», у этого предела мы можем «взвесить возможности» путем гипотезы, но «значительное расширение фактического знания здесь невозможно... Духовный мир в сравнении с физическим является нам отрывком; только путем гипотезы есть возможность его дополнить» (там же).

348

Но и это уважение перед пределом науки кажется другим авторам недостаточным. О бессознательном дозволено утверждать только то, что оно существует; по самому определению оно не есть предмет опыта; доказывать его фактами наблюдения, как пытается Геффдинг, незаконно. У этого слова есть два смысла, есть два сорта бессознательного, которые не надо смешивать,— спор идет о двойном объекте: о гипотезе и о фактах, которые можно наблюдать.

Еще шаг в этом направлении — и мы вернемся к тому, с чего начали: к затруднению, которое заставило нас предположить бессознательное.

Окажется, что психология здесь поставлена в трагикомическое положение: хочу, но не могу. Она вынуждена принять бессознательное, чтобы не впасть в нелепость; но, принимая его, она впадает еще в большую нелепость и с ужасом бежит назад. Так человек, бегущий от зверя и встречающий еще большую опасность, бежит назад — к меньшей, хотя не все ли равно, от чего погибнуть? Вундт видит в этой теории отзвук мистической натурфилософии начала XIX в. За ним Н. Н. Ланге принимает, что бессознательная психика есть внутренне противоречивое понятие, бессознательное должно быть объяснено физически и химически, а не психологически, иначе мы открываем доступ в науку : мистическим агентам», «произвольным построениям, которых никогда нельзя проверить» (1914, с. 251).

Итак, мы вернулись к Геффдингу: есть ряд физико-химический, в некоторых отрывочных точках вдруг ех шьНо сопровождаемый психическим рядом; извольте понять и научно истолковать «отрывок». Что же означает этот спор для методолога? Надо психологически выйти

за пределы непосредственно воспринимаемого сознания и продолжить его, но построить продолжение этого понятия так, чтобы отделить понятие от ощущения. Психология как наука о сознании принципиально невозможна; она вдвойне невозможна как наука о бессознательной психике. Казалось бы, нет выхода, нет решения этой квадратуры круга. Но точно в таком же положении находится и физика: правда, физический ряд простирается дальше, чем психический, но и он не бесконечен и не без пропусков, принципиально непрерывным и бесконечным сделала его наука, а не непосредственный опыт; она продолжила этот опыт, выключив глаз. Это же задача психологии.

Итак, истолкование для психологии есть не только горькая необходимость, но и освобождающий, принципиально плодотворнейший способ познания, заНо у}{ale, которое у плохих прыгунов превращается в заЙю тогЬе. Нужно психологии составить свою философию аппаратуры, как физики имеют свою философию термометра. Фактически к истолкованию прибегают обе стороны в психологии: субъективист имеет, в конце концов, слова испытуемого, т. е. поведение и его психика есть истолкованное поведение. Объективист

349

тоже непременно толкует. В самом понятии реакции заключена необходимость истолкования, смысла, связи, соотношения. В самом деле: асю и геасllo понятия первоначальные механистические — там надо пронаблюдать одно и другое и вывести закон. Но в психологии и в физиологии реакция не равна стимулу, она имеет смысл, цель, т. е. исполняет известную функцию в большом целом, она качественно связана со своим раздражителем; и вот этот смысл реакции как функции целого, качество взаимоотношения не даны в опыте, а находятся путем умозаключения. Проще и более общо: изучая поведение как систему реакции, мы изучаем акты поведения не сами по себе (по органам), а в их отношении к другим актам — стимулам, а отношение и качество отношения, смысл его никогда не бывают предметом непосредственного восприятия, тем более отношение двух разнородных рядов — стимулов и реакций. Это глубочайшим образом важно: реакция есть ответ; изучать ответ можно только по качеству его соотношения с вопросом, а это и есть смысл ответа, находимый не в восприятии, а в истолковании.

Так все и делают.

В. М. Бехтерев различает творческий* рефлекс. Проблема — раздражитель, творчество — ответная на него реакция или символический рефлекс. Но ведь понятие творчества и символа суть смысловые понятия, а не опытные: рефлекс творческий, если он стоит в таком отношении к стимулу, что создает нечто новое; он же символический, если замещает другой рефлекс, но нельзя увидеть символического или творческого характера рефлекса.

И. П. Павлов различает рефлекс свободы, цели, пищевой, за* лщтный. Но ведь видеть свободу или цель нельзя, не имеют они и органа, как, например, органы питания; не суть и функции; складываются из тех же движений, что и другие; защита, свобода, цель — суть смыслы этих рефлексов.

К. Н. Корнилов различает эмоциональные реакции, реакции выбора, ассоциативную, узнавание и т. д. Опять классификация по смыслу, т. е. по истолкованному на основании стимула-ответа отношению между ними.

Дж. Уотсон, допуская такие же различия по смыслу, откровенно говорит, что психолог поведения в настоящее время приходит к заключению о существовании скрытого процесса мышления, пользуясь единственно логикой. Этим он осознает свой метод и блестяще опровергает Э. Титченера, выставившего тезис, что психолог поведения именно в качестве такового не может допустить наличие процесса мышления, если он не в состоянии наблюдать его непосредственно, и становится на путь интроспекции, чтобы открыть мышление. Уотсон показал, что он принципиально изолирует понятие мышления от его восприятия в интроспекции, как термометр эмансипирует нас от ощущения при построении понятия теплоты. Поэтому он подчеркивает: «Если нам когда-нибудь удастся научно

350

изучить интимную природу мысли... то этим мы в значительной мере будем обязаны научным приборам» (1926, с. 301). Однако и сейчас психолог «находится не в таком уже плачевном положении: и физиологи часто довольствуются наблюдением конечных результатов и пользуются логикой». «Сторонник психологии поведения чувствует, что в отношении мышления он должен держаться совершенно такой же позиции» (там, же с. 302). И значение для Уотсона есть экспериментальная проблема. Мы находим его из того, что нам дано путем мышления.

Э. Торндайк различает реакции чувства, вывода, настроения, ловкости (1925). Опять истолкование.

Весь вопрос только в том, *как* истолковать — по аналогии со своей интроспекцией, с биологическими функциями и пр. Поэтому прав Коффка, когда утверждает: объективного критерия сознания нет, мы не знаем, есть ли в действии сознание или нет, но это нимало не огорчает нас. Однако поведение таково, что принадлежащее ему сознание, если оно есть, должно иметь такую и такую структуру; поэтому поведение должно быть так объяснено, как и сознательное. Или иначе, выражаясь парадоксально: если бы каждый имел только те реакции, которые могут быть наблюдаемы всеми, тогда никто не мог бы ничего наблюдать, т. е. в основе научного наблюдения лежит выход за пределы видимого и отыскание его смысла, который нельзя наблюдать. Он прав. Он прав, когда утверждал, что бихевиоризм обречен на бесплодие, если будет изучать только наблюдаемое, если его идеалом будет знание направления и скорости движения каждого члена, секреты каждой железы в результате каждого стимула. Его областью тогда были бы только факты из физиологии мускулов и желез. Описание «это животное убегает от какой-то опасности», как бы недостаточно оно ни было, все же в 100 раз более характеризует поведение животного, чем формула, дающая нам движение всех его ног с их изменяющимися скоростями, кривые дыхания, пульса и т. д. (К. Коффка, 1926).

В. Келер показал на практике, как можно *доказать* наличие мышления без всякой интроспекции у обезьян и даже изучить методом истолкования объективных реакций течение и структуру этого процесса (1917). Корнилов показал, как косвенным методом можно измерить энергетический бюджет различных операций мышления: динамоскоп применен им как термометр (1922). Ошибка Вундта и была в *механическом* применении аппаратуры и математического метода не для расширения, а для контроля и коррективы, не для освобождения от интроспекции, а для связывания себя ею. В сущности, интроспекция в большинстве исследований Вундта оказывалась излишней: она нужна только для выделения неудачных опытов. Принципиально она не нужна вовсе в учении Корнилова. Но психологии еще предстоит создать свой термометр; исследование Корнилова открывает путь к этому.

351

Мы можем суммировать наши выводы из исследования узкосенсуалистического догмата снова ссылкой на слова Энгельса о деятельности глаза, к которому присоединяется мышление, помогающее нам открыть, что муравьи видят невидимое для нас.

Психология слишком долго стремилась не к знанию, а к переживанию; в данном примере она хотела лучше разделить с муравьями их зрительное переживание ощущения химических лучей, чем научно познать их зрение.

Есть два типа научных систем по отношению к методологическому хребту, поддерживающему, их. Методология всегда подобна костяку, скелету в организме животного. Простейшие животные, как улитка и черепаха, носят свой скелет снаружи, и их, как устриц, можно отделить от костяка, они остаются малодифференцированной мякотью; высшие животные носят скелет внутри и делают его внутренней опорой, костью каждого своего движения. Надо и в психологии различать низшие и высшие типы методологической организации.

Вот лучшее опровержение мнимого эмпиризма естественных наук. Оказывается, ничего нельзя переносить из одной теории в другую. Казалось бы, факт есть всегда факт, один и тот же объект — ребенок — и один и тот же метод — объективное наблюдение — только при разных конечных целях и исходных предпосылках позволяют перенесение фактов из психологии в рефлексологию. Разница только в интерпретации одних и тех же фактов. Системы Птолемея²⁷ и

Коперника²⁸ тоже опирались в конце концов на одни и те же факты. Оказывается, что факты, добытые при помощи разных познавательных принципов, суть именно *разные* факты.

Итак, спор о применении биогенетического принципа в психологии есть спор не о фактах. Факты несомненны — их две группы: установленная естествознанием рекапитуляция пройденных стадий в развитии строения организма и несомненные черты сходства между филогенезом психики. Особенно важно отметить, что и о последних спора нет. Коффка, оспаривающий эту теорию и дающий ее методологический анализ, со всей решительностью заявляет, что аналогии, из которых исходит эта ложная теория, без всякого сомнения, существуют в действительности, спор идет о *значении* этих аналогий, и оказывается, что его нельзя решить, не анализируя принципы детской психологии, не имея общей идеи детства, концепции значения и биологического смысла детства, определенной теории развития ребенка (К. Коффка, 1925). Аналогии везде, легко найти; вопрос в том, *как* их искать. Подобные аналогии можно найти и в поведении взрослого.

Здесь возможны две типичные ошибки: одну допускает С. Холл²⁸. Ее прекрасно вскрыли в критическом анализе Торндайк и Гроос. Последний справедливо видит смысл всякого сравнения и задачу сравнительной науки не только в выделении совпадающих черт, но еще больше в отыскании различий в сходстве (1906). Сравнительная психология, следовательно, должна не только понять человека как животное, но гораздо больше — как неживотное.

Прямолинейное применение принципа приводило к отысканию сродства везде: правильный метод и точно установленные факты при некритическом применении привели к чудовищным натяжкам и ложным фактам. В детских играх по традиции действительно сохранилось много отголосков отдаленного прошлого (игра с луками, хороводы). Для Холла это повторение и изживание в безобидной форме животных и доисторических стадий развития. Гроос видит в этом удивительный недостаток в критическом чутье: боязнь кошек и собак есть пережиток того времени, когда эти животные были еще дикими; вода привлекает детей, потому что мы происходим от водяных животных, автоматические движения рук у младенца — пережиток движений наших предков, плававших в воде, и т. д.

Ошибка заключается, следовательно, в истолковании всего поведения ребенка как рекапитуляции и в отсутствии всякого принципа проверки аналогии и отбора фактов, подлежащих такому истолкованию от не подлежащих. Игры животных как раз не поддаются такому объяснению. «Можно ли объяснить игру молодого тигра с жертвой?» — спрашивает К. Гроос (1906). Ясно, что игру нельзя понять как рекапитуляцию прошлого филогенетического развития. Она есть предварение будущей деятельности тигра, а не повторение его прошлого развития; она должна быть объяснена и понята из соотношения с будущим тигра, в свете которого игра получает смысл, а не в свете прошлого его рода. Прошлое рода *совсем* в ином смысле сказывается здесь: через *будущее* индивида, которое оно [прошлое.— *Ред.*] предопределяет, но не непосредственно и не в смысле повторения.

Что же оказывается? Именно *биологически*, именно в *ряду однородных явлений* на других ступенях эволюции, в сопоставлении с ближайшим однородным аналогом эта квазибиологическая теория оказывается несостоятельной. Если мы сравним игру ребенка с игрой тигра, т. е. высшего млекопитающего, и учтем не только сходство, но и *различие* их, мы откроем *их общий* биологический смысл, заключенный именно в их *различии* (тигр играет в охоту тигров; ребенок — во взрослого человека; оба упражняют для будущей жизни нужные функции — теория К. Грооса). А в сравнении *роз-нородных* явлений (игра с водой — жизнь в воде амфибии — человека) при всей внешней видимости сходства теория биологически бессмысленна.

К этому сокрушающему аргументу Торндайк прибавляет замечание о разном порядке соответствия онто- и филогенеза *одним и тем же биологическим принципам*; так, сознание появляется очень рано в онто- и очень поздно в филогенезе; половое влечение, напро-

тив,— очень рано в фило- и очень поздно в онтогенезе (Э. Торндайк, 1925). В. Штерн, используя аналогичные соображения, критикует ту же теорию применительно к игре.

Другого рода ошибку допускает П. П. Блонский. Защитив — и совершенно убедительно — этот закон для эмбрионального развития о точки зрения биомеханики и показав, что было бы чудом, если бы его не было, указав на гипотетическую природу этих соображений («не особенно доказательных»), придя к утверждению («так может быть»), т. е. обосновав методологическую возможность рабочей гипотезы,— автор, вместо того чтобы перейти к исследованию и проверке гипотезы, вступает на путь Холла и уже *объясняет* поведение ребенка из очень понятных аналогий: в лазанье детей на деревья он видит рекапитуляцию не обезьяньей жизни, а первобытных людей, живших среди скал и льдов, срывание обоев на стене — атавизм срывания коры на деревьях и т. д. (П. П. Блонский, 1921). Что примечательнее всего — ошибка приводит Блонского туда же, куда и С. Холла: к *отрицанию игры*. Гроос и В. Штерн показали: там, где больше всего можно почерпнуть аналогий между онто- и филогенезом, именно там эта теория несостоятельна. И Блонский, как бы иллюстрируя непреодолимую силу методологических законов научного знания, не ищет также и новых обозначений; деятельность ребенка он не видит нужды называть «новым термином» (игра). Это значит, что на методологическом пути он сперва терял *смысл* игры, а затем с последовательностью, делающей ему честь, отказался и от термина, выражавшего этот смысл. В самом деле, если деятельность, поведение ребенка — атавизмы, рекапитуляция прошлого, то термин «игра» неуместен; с игрой тигра эта деятельность не имеет ничего общего, как показал Гроос. И заявление Блонского «Я не люблю этого термина» — надо методологически перевести так: «Я утратил понимание и смысл этого понятия» (1921).

Только так, только прослеживая каждый принцип до его крайних выводов, беря каждое понятие в пределе, к которому оно стремится, исследуя каждый ход мыслей до самого конца, иногда додумывая его за автора, можно определить методологическую природу исследуемого явления. Поэтому в той науке, где понятие создано, возникло, развилось и доведено до предельного выражения, оно употребляется сознательно, не слепо. При перенесении в другую науку *оно слепо*, оно никуда не ведет. Такое *слепое* перенесение биогенетического принципа, эксперимента, математического метода из естественных наук создало в психологии видимость научности, под которой на деле кроется полное бессилие перед изучаемыми явлениями.

Но чтобы окончательно очертить круг, описываемый значением такого привнесенного принципа в науке, проследим его дальнейшую судьбу. Обнаружением бесплодия принципа, критикой его,

указанием на курьезы и натяжки, в которые школьники тычут пальцами, дело не кончается. Иными словами, история принципа не кончается простым изгнанием его из не принадлежащей ему области, простым отвержением его. Ведь мы помним, что чужой принцип проник в науку по *мостику фактов*, реально существующих аналогий; этого никто не отрицал. Время укрепления и господства этого принципа увеличило число фактов, на которые опиралось его мнимое могущество, частью ложных, частью истинных. Критика этих фактов, критика самого принципа, в свою очередь, привлекает в поле зрения науки опять новые факты. Дело не ограничивается фактами: критика должна дать свое объяснение взаимно сталкиваемым фактам, обе теории ассимилируются, и на этой почве происходит *перерождение* принципа.

Под давлением фактов и чуждых теорий новый пришелец меняет свое лицо. С биогенетическим принципом случилось то же самое. Он переродился и фигурирует в психологии в двух формах (знак того, что процесс перерождения еще не закончен): 1) теории полезности, защищаемой неodarвинизмом и школой Торндайка, считающей, что индивид и род в своем развитии подчинены одним и тем же законам — отсюда ряд совпадений, но и ряд несовпадений: не все полезное роду на ранней стадии полезно и индивиду, 2) теории согласованности, защищаемой в психологии К. Коффкой, и школой Дж. Дьюи, в философии истории — О. Шпенглером³⁰, теории, полагающей, что всякий процесс развития непременно имеет некоторые общие этапы, формы последовательности — от простого к более сложному и от низших к высшим ступеням.

Мы далеки от того, чтобы считать какой-либо из этих выводов за истинный, далеки вообще от рассмотрения вопроса по существу, Для нас важно проследить динамику стихийной, слепой реакции научного тела на инородный, привнесенный предмет. Нам важно проследить формы научного воспаления в зависимости от рода инфекции, чтобы от патологии перейти к норме: выяснить нормальные отправления и функции различных составных частей — органов науки. В этом цель и значение наших анализов, как будто уводящих нас в сторону, но мы все время, не напоминая, держимся сравнения, подсказанного Спинозой, психологии наших дней с тяжелобольным. Если с этой точки зрения формулировать смысл последнего экскурса, тот положительный вывод, к которому мы пришли, итог анализа, то придется определить его так: прежде мы — на анализе бессознательного — изучили природу, действие, способ распространения инфекции, проникновения чужеродной идеи вслед за фактами, хозяйничанье ее в организме, нарушение его функций; здесь — на анализе биогенеза — мы могли изучить контрдействие организма, борьбу с инфекцией, динамическую тенденцию рассосать, вытолкнуть, обезвредить, ассимилировать, переродить инородное тело, мобилизовать силы против заразы, говоря медицин-

355

ски,— выработку антител и образование иммунитета. Остается третье и последнее: разделить явления болезни и реакции, здоровое и больное, процессы инфекции и выздоровления. Это мы сделаем на анализе научной терминологии в третьем, и последнем, экскурсе, чтобы затем прямо перейти к формулировке диагноза и прогноза у нашего больного,— природы, смысла и исхода происходящего кризиса.

Конец формы

Конец формы

Конец формы

Если бы кто-нибудь захотел составить объективное и ясное представление о том состоянии, которое переживает сейчас психология, и о размерах кризиса, достаточно было бы изучить психологический язык, номенклатуру и терминологию, словарь и синтаксис психолога. Язык, научный в частности, есть орудие мысли, инструмент анализа, и достаточно посмотреть, каким инструментом пользуется наука, чтобы понять характер операций, которыми она занимается. Высокоразвитый и точный язык современной физики, химии, физиологии, не говоря уже о математике, где он играет исключительную роль, складывался и совершенствовался вместе с развитием науки и совсем не стихийно, но сознательно под влиянием традиции, критики, прямого терминологического творчества ученых обществ, конгрессов. Психологический язык современности, прежде всего, недостаточно терминологичен: это значит, что психология не имеет еще *своего* языка. В ее словаре вы найдете конгломерат из трех сортов слов: 1) слова обиходного языка, смутного, многосмысленного, приуроченного к практической жизни (А. Ф. Лазурский упрекал в этом психологию способностей; мне удалось показать, что это в большей мере приложимо к языку эмпирической психологии, и самого Лазурского в частности (Л. С. Выготский, 1925). Достаточно вспомнить камень преткновения всех переводчиков — *чувство* зрения (чувство в смысле ощущения), чтобы увидеть всю метафоричность, неточность практического житейского языка; 2) слова философского языка. Утерявшие связь с прежним смыслом, многосмысленные вследствие борьбы разных философских школ, абстрактные в максимальной степени, они тоже засоряют язык психологов. Л. Лаланд видит в этом главный источник смутности и неясности в психологии. Тропы этого языка благоприятствуют неопределенности мысли; метафоры, драгоценные как иллюстрации, опасны как формулы; персонификация

психических фактов и функций, систем или теорий через **-изм**, между которыми изобретаются маленькие мифологические драмы (Л. Лаланд, 1929); 3) наконец, слова и формы речи, заимствованные из естественных наук и употребляемые в переносном смысле, служат прямо для обмана. Когда психолог рассуждает об энергии, силе, даже об интенсивности, или когда говорит о возбуждении и т. п., он всегда

356

прикрывает научным словом ненаучное понятие, или вводя в обман, или еще раз подчеркивая всю неопределенность понятия, обозначаемого чужим точным термином.

Темнота языка, верно замечает Лаланд, зависит столько же от синтаксиса, сколько и от словаря. В конструкции психологической фразы не меньше мифологических драм, чем в словаре. Прибавлю еще, что *стиль*, манера науки выражаться играют не меньшую роль. Одним словом, все элементы, все функции языка носят следы возраста той науки, которая ими пользуется, и определяют характер ее работы.

Было бы ошибочно думать, что психологи не замечали пестроты, неточности и мифологичности своего языка. Нет почти ни одного автора, который не останавливался бы так или иначе на проблеме терминологии. В самом деле, психологи претендовали на то, чтобы описывать, анализировать и изучать особо тонкие вещи, полные нюансов, и стремились передать ни с чем не сравнимое своеобразие душевного переживания, факты *suī generis* единственный раз, когда наука хотела передать самое переживание, т. е. ставила своему языку задачи, которые решает художественное слово. Поэтому психологи советовали учиться психологии у великих романистов, сами говорили языком импрессионистической беллетристики, и даже лучшие, блестящие стилисты-психологи были бессильны создать точный язык и писали образно-экспрессивно: внушали, рисовали, представляли, но не протоколировали. Таковы Джемс, Липпс, Бине.

VI Интернациональный конгресс психологов в Женеве (1909) поставил этот вопрос в порядке дня, опубликовал два доклада — Дж. Болдуина и Э. Клапареда, но дальнейшее установление правил лингвистической возможности не пошел, хотя Клапаред и пытался дать определение 40 лабораторным терминам. Словарь Болдуина в Англии, Технический и критический словарь философии во Франции сделали многое, но положение с каждым годом становится, несмотря на это, хуже, и читать новую книгу с указанными словарями нельзя. Энциклопедия, из которой я заимствую эти сведения, ставит одной из своих задач внести твердость и устойчивость в терминологию, но дает повод к новой неустойчивости, вводя новую систему обозначений (Ж- Дюма⁸¹, 1924).

Язык обнаруживает как бы молекулярные изменения, которые переживает наука; он отражает внутренние и неоформившиеся процессы — тенденции развития, реформы и роста. Итак, примем то положение, что смутное состояние языка в психологии отражает смутное состояние науки. Не будем входить глубже в существо этого отношения — примем его за исходную точку для анализа современных молекулярно-терминологических изменений в психологии. Может быть, мы сумеем прочесть в них настоящую и будущую судьбу науки. Начнем, прежде всего, с тех, кто склонен вообще отрицать принципиальное значение за языком науки и видеть в

357

подобных спорах схоластические словопрения. Так, Челпанов указывает как на смешную претензию, как на верх бессмыслицы на стремление заменить субъективную терминологию объективной. Зоопсихологи (Беер, Бете, Я. И. Икскуль) говорили «фоторецептор» вместо «глаз», «стйборецептор» вместо «нос», «рецептор» вместо «орган чувства» и т. д. (Г. И. Челпанов, 1925).

Г. И. Челпанов склонен всю реформу, проводимую бихевиоризмом, свести к игре в термины; он полагает, что в сочинении Дж. Уотсона слово «ощущение» или «представление» заменено словом «реакция». Для того чтобы показать читателю различие между обыкновенной психологией и психологией бихевиориста, Челпанов приводит примеры нового способа выражения: «В обыкновенной психологии говорится: «Если чей-

либо оптический нерв раздражается смесью дополнительных цветовых волн, то у него является *сознание* белого цвета». По Уотсону в этом случае надо сказать: «Он *реагирует* на нее, как на белый цвет» (1926). Победоносный вывод автора: дело не меняется от того, какое употребить слово; вся разница в словах. Так ли это? *Для психолога типа Челпанова это безусловно так*; кто не исследует и не открывает нового, тот не может понять, зачем исследователи для новых явлений вводят новые слова; кто не имеет своего взгляда на вещи, а одинаково приемлет Спинозу и Гуссерля, Маркса и Платона ^{3а}, для того принципиальная перемена слова есть пустая претензия; кто эклектически — в порядке появления — усваивает *все* западноевропейские школы, течения и направления, для того необходим смутный, неопределенный, уравнилельный, житейский язык — «как говорится в обыкновенной-психологии»; кто мыслит психологию только в форме учебника, для того вопросом жизни является сохранение обыденного языка, а так как масса эмпириков-психологов принадлежит к тому же типу, то она и говорит на том смешанном пестром жаргоне, для которого *сознание белого цвета* есть просто факт без дальнейшей критики.

Для Челпанова это каприз, чудачество. Однако почему это чудачество *столь закономерно!* Нет ли в нем чего-либо необходимого? Уотсон и Павлов, Бехтерев и Корнилов, Бете и Икскюль (справка Челпанова может быть увеличена ад libitum из любой области науки), Келер и Коффка и еще, и еще проявляют это же чудачество. Значит, в тенденции вводить новую терминологию есть какая-то объективная необходимость.

Мы заранее можем сказать, что *слово, называя факт, дает вместе с тем философию факта*, его теорию, его систему. Когда я говорю: «сознание цвета», у меня *одни* научные ассоциации, факт вводится в *один* ряд явлений, я придаю *один* смысл факту; когда я говорю: «реакция на белое», все совершенно *другое*. Но Челпанов только притворяется, будто дело в словах. Ведь у него-то у самого тезис: *не нужно реформы терминологии* — есть вывод из другого тезиса: *не нужно реформы психологии*. Нужды нет, что Челпанов здесь за-

358

путывается в противоречии: с одной стороны, Уотсон только меняет слова; с другой — бихевиоризм *искажает* психологию. Так ведь одно из двух: или Уотсон играет словами — тогда бихевиоризм невиннейшая вещь, веселенький анекдотец, как любит изображать, успокаивая сам себя, Челпанов; или за переменой слов кроется перемена дела — тогда перемена слов не такое уж смешное дело. Революция всегда срывает с вещей старые имена — в политике и в науке.

Но перейдем к другим авторам, которые понимают смысл новых слов: для них ясно, что новые факты и новая точка зрения на них обязывают к новым словам. Такие психологи распадаются на две группы: одни — чистые эклектики, они с радостью смешивают старые и новые слова и видят в этом вечный закон; другие говорят на смешанном языке из нужды, не совпадая ни с одной из спорящих сторон и стараясь прийти к единому языку — создать собственный язык.

Мы видели, что такие откровенные эклектики, как Торндайк, одинаково применяют термин «реакции» к настроению, ловкости, действию, к объективному и субъективному. Не умея решить вопрос о природе изучаемых явлений и принципах их исследования, он просто лишает смысла и субъективные, и объективные термины, «стимул — реакция» для него просто удобная форма описания явлений. Другие, как В. Б. Пиллсбери, возводят эклектику в принцип: споры об общем методе и точке зрения могут интересовать техника-психолога. Ощущения и перцепции он излагает в терминах структуралистов, действия всех родов — бихевиористов; сам же он склоняется к функционализму. Различие в терминах приводит к несогласованности, но он предпочитает это употребление терминов многих школ одной какой-нибудь школе (В. Б. Пиллсбери, 1917). В полном согласии с этим он на житейских иллюстрациях, в приблизительных словах показывает, чем занимается психология, вместо того чтобы дать ее формальное определение; излагая три определения психологии как науки о душе, о сознании и о поведении, он заключает, что эти различия могут быть не приняты во внимание при описании душевной жизни. Естественно, что и терминология будет безразлична нашему автору.

Принципиальный синтез старой и новой терминологии пытаются осуществить Коффка (1925) и другие. Они прекрасно понимают, что слово есть теория обозначаемого факта, и поэтому за двумя системами терминов видят две системы понятий: у поведения есть две стороны — доступная естественному наблюдению и доступная переживанию — им отвечают функциональные и дескриптивные понятия. Функционально-объективные понятия и термины принадлежат к категории естественнонаучных, феноменально-дескриптивные — абсолютно ему (поведению) чужды. Этот факт часто бывает затемнен языком, который не всегда имеет отдельные слова для того

359

и другого рода понятий, так как повседневный язык не есть язык научный.

Заслуга американцев в том, что они боролись против субъективных анекдотов в зоопсихологии, но мы не будем бояться употреблять дескриптивные понятия при описании поведения животных. Американцы пошли слишком далеко, они слишком объективны. Опять в высшей степени примечательно: внутренне глубочайшим образом двойственная, отразившая и соединившая в себе две противоположные тенденции, которые, как будет показано ниже, определяют сейчас весь кризис и его судьбу, гештальттеория хочет принципиально, навсегда сохранить *двойной* язык, ибо она исходит из *двойной* природы поведения. Однако ведь науки изучают не то, что в природе встречается в близком соседстве, а то, что в понятиях однородно и близко. Как же может быть *одна* наука о *двух* абсолютно различных родах явлений, очевидно требующих *двух* различных методов, *двух* принципов объяснения и т. д.? Ведь единство науки обеспечивается единством точки зрения на предмет. Как же можно строить науку с *двух* точек зрения? Опять противоречию в терминах точно отвечает противоречие в принципах.

Несколько иначе обстоит дело у другой группы, главным образом у русских психологов, употребляющих те и другие термины, но видящих в этом дань переходной эпохе. Этот демисезон, по выражению одного психолога, требует одежды, соединяющей в себе шубу и летнее платье, потеплее и полегче. Так, Блонский полагает, что дело не в том, как называть изучаемые явления, но в том, как понимать их. Мы пользуемся обычным словарем для нашей речи, но в эти обычные слова мы вкладываем соответствующее науке XX в. содержание. Дело не в том, чтобы избегать выражения: «Собака сердится». Дело в том, чтобы эта фраза была не объяснением, но проблемой (П. П. Блонский, 1925). Собственно, здесь заключено полное осуждение старой терминологии: ведь там эта фраза была именно объяснением. Но главное, чтобы стать научной проблемой, эта фраза должна быть сформулирована соответствующим образом, а не обычным словарем. И те, кого Блонский называет педантами терминологии, гораздо лучше чувствуют, что за фразой скрыто содержание, вложенное в нее историей науки. Однако многие вслед за Блонским пользуются двумя языками, не считая это принципиальным вопросом. Так делает К. Н. Корнилов, так поступаю я, повторяя вслед за Павловым: какая важность, как назвать их — психическими или сложнонервными?

Но уже эти примеры показывают *пределы* такого двуязычия. Сами же пределы яснее всего демонстрируют то же, что и весь анализ эклектиков: двуязычие есть внешний знак двумыслия. Двумя языками можно говорить, пока передаешь двойственные вещи или вещи в двойственном освещении, тогда действительно, какая важность, как назвать их.

360

Итак, формулируем: для эмпириков необходим язык житейский, неопределенный, путанный, многосмысленный, смутный, такой, чтобы сказанное на нем можно было согласовать с чем угодно — сегодня с отцами церкви, завтра — с Марксом; им нужно слово, которое не дает ни ясной философской квалификации природы явления, ни просто ясного его описания, потому что эмпирики неясно понимают и неясно видят свой предмет. Эклектикам — принципиальным, временным, до тех пор пока они стоят на эклектической точке зрения, — нужно два языка. Но как только эклектики покидают эту почву и пытаются обозначить и описать вновь открытый факт или изложить собственную точку зрения на предмет, они становятся равнодушны к языку, слову.

К. Н. Корнилов, открыв новое явление, готов *всю* область, к которой он относит это явление, из главы психологии сделать самостоятельной наукой — реактологией (К. Н. Корнилов, 1922). В другом месте он противопоставляет рефлексу реакцию и видит принципиальную разницу между одним и другим термином. Различнейшая философия и методология лежат в основе того и другого. Реакция для него — биологическое понятие, рефлекс — узкофизиологическое; рефлекс только объективен, реакция субъективно-объективна. Теперь ясно, что один смысл получит явление, если мы назовем его рефлексом, и другой — реакцией.

Очевидно, не все равно, как называть явления, и педантизм там, где за ним стоит исследование или философия, имеет свой резон: он понимает, что ошибка в слове есть ошибка в понимании. Блонский недаром видит совпадение в своей работе и в очерке психологии Джемсона — этом типическом образчике обывательщины и эклектики в науке (Л. Джемсон, 1925). Видеть во фразе «собака сердится» проблему нельзя уже потому что, как верно показал Щелованов, нахождение термина есть конечный, а не начальный пункт исследования: как только тот или иной комплекс реакций обозначается каким-либо психологическим термином, так всякие дальнейшие попытки анализа заканчиваются (Н. М. Щелованов, 1929). Если бы Блонский сошел с почвы эклектики, как Корнилов, и встал на ниву исследования или принципа, он [Блонский.— *Ред.*] узнал бы это. Нет ни одного психолога, с кем это не случилось бы. И такой иронический наблюдатель «терминологических революций», как Челпанов, вдруг оказывается удивительным педантом: он возражает против названия «реактология». С педантизмом чеховского учителя гимназии он поучает, что этот рефлекс вызывает недоумение, во-первых, этимологически, во-вторых, теоретически. Этимологическое образование слова совершенно неверно, с апломбом заявляет автор, - нужно было бы сказать «реакциология». Это, конечно, верх лингвистической безграмотности и полное нарушение всех терминологических принципов VI конгресса об интернациональной (латинско-греческой) основе терминов, видимо, не от нижегородского

361

«реакция», а от *reactio* образовал Корнилов свой термин, и совершенно правильно; интересно, как бы Челпанов перевел «реакциологию» на французский, немецкий и т. д. Но не в этом дело. Дело в другом: в системе психологических воззрений Корнилова, заявляет Челпанов, он будто неуместен. Но будем судить по существу. Важно *признание значения термина в системе воззрений*. Оказывается, что даже рефлексология *при известном понимании* имеет *raison d'être*.

Пусть не подумают, что эти мелочи не имеют значения, потому что они слишком явно путаны, противоречивы, неверны и т. д. В этом разница научной точки зрения и практической. Г. Мюнстерберг разъяснял, что садовник любит свои тюльпаны и ненавидит сорную траву, а ботаник, описывающий и объясняющий, ничего не любит и не ненавидит и со своей точки зрения не может ничего ни любить, ни ненавидеть. Для науки о человеке, говорит он, человеческая глупость представляет не меньший интерес, чем человеческая мудрость. Все это безразличный материал, претендующий только на то, что он существует, как звено в цепи явлений (Г. Мюнстерберг, 1922). Как звено в цепи причинных явлений тот факт, что психологу-эклектику, для которого безразлична терминология, вдруг становится боевым вопросом, когда затрагивает его позицию,— есть ценный методологический факт. Столько же ценный, как и то, что другие эклектики *таким же путем* приходят к тому же, к чему и Корнилов: ни условный, ни сочетательный рефлекс не кажутся им достаточно ясными и понятными; в основе новой психологии лежат реакции, и вся психология, развиваемая Павловым, Бехтеревым, Дж. Уотсоном, именуется не рефлексологией, не бихевиоризмом, но *psychologie de reaction*, т. е. реактологией. Пусть эклектики приходят к противоположным выводам об одной вещи: их роднит тот способ, тот процесс, которым они вообще находят свои выводы.

Такую же закономерность мы найдем у всех рефлексологов — исследователей и теоретиков. Уотсон убежден, что мы можем написать курс психологии и не употребить слов «сознание», «содержание», «интроспективно проверяемое», «воображение» и т. п. (1926). И для него это не терминологический прием, но принципиальный: как химик не может говорить языком

алхимика и астроном — языком гороскопа. Он прекрасно разъясняет это на одном частном случае: различие между зрительной реакцией и зрительным образом он считает теоретически весьма важным, так как в нем таится различие между последовательным монизмом и последовательным дуализмом (там же). Слово для него — щупальца, которыми философия охватывает факт. Бесчисленные тома, написанные в терминах сознания, какую бы ни имели сами по себе цену, она может быть определена и выражена только в переводе на объективный язык. Ибо сознание и прочее, помысли Уотсона, все это одни лишь неопределенные выражения. И новый курс

362

одинаково порывает с ходовыми теориями и с терминологией. Уотсон осуждает «половинчатую психологию поведения» (которая приносит вред всему направлению), утверждая, что если положения новой психологии не будут сохранять свою ясность, то ее рамки будут искажены, затемнены и она потеряет свое истинное значение. От такой половинчатости погибла функциональная психология. Если бихевиоризм имеет будущность, то он должен полностью порвать с понятием сознания. Однако до сих пор не решено: стать ли ему доминирующей *системой* психологии, или оставаться просто методологическим подходом. И поэтому Уотсон слишком часто принимает методологию здравого смысла за основу исследования; в стремлении освободиться от философии он скатывается к точке зрения «обыкновенного человека», понимая под этой последней не основную черту человеческой практики, а здравый смысл среднего американского дельца. По его мнению, обыкновенный человек должен приветствовать бихевиоризм. Обыденная жизнь научила его так поступать, следовательно, подходя к науке о поведении, он не чувствует перемены метода или какого-либо изменения предмета (там же). В этом — приговор всему бихевиоризму: научное изучение непременно требует *изменения* предмета (т. е. его обработки в понятиях) и *метода*, между тем само поведение этими психологами понимается по-житейски и в их рассуждениях и описаниях много от обывательского способа суждения. Поэтому и радикальный, и половинчатый бихевиоризм никак не найдут — в стиле и языке, как в принципе и методе,— *границы* между обыденным и житейским пониманием. Освободившись от «алхимии» в языке, бихевиористы засорили его житейской, нетерминологической речью. Это сближает их с Челпановым: всю разницу надо отнести за счет бытового уклада — американского и русского обывателя. Поэтому упрек новой психологии в том, что она обывательская психология, отчасти верен.

Эту неясность языка, которую Блонский считает отсутствием педантизма, Павлов относит за счет неудачи американцев. Он усматривает в этом «видимый промах, который тормозит успех дела, который, несомненно, рано или поздно будет устранен. Это — пользование при объективном, в сущности, исследовании поведения животных психологическими понятиями и классификацией. Отсюда часто происходит случайность и сложность их методологических приемов и всегда отрывочность, бессистемность их материала, остающегося без планомерного фундамента» (1950, с. 237). Яснее нельзя выразить роль и функцию языка в научном исследовании. И всем успехом Павлов обязан огромной методологической последовательности прежде всего в языке. Из главы о работе слюнных желез у собак его исследования превратились в учение о высшей нервной деятельности и поведении животных исключительно потому, что он поднял изучение слюнной секреции

363

на огромную теоретическую высоту и создал прозрачную систему понятий, легшую в основу науки. Принципиальности Павлова в методологических вопросах надо удивляться, его книга вводит нас в лабораторию его исследований и учит созиданию научного языка. Вначале — какая важность, как называть явление? Но постепенно каждый шаг вперед закрепляется новым словом, каждая новая закономерность требует термина. Он выясняет смысл, значение употребления новых терминов. Выбор терминов и понятий предопределяет исход исследования: «... как было бы можно систему беспространственных понятий современной психологии наложить на материальную конструкцию мозга» (там же, с. 254).

Когда Э. Торндайк говорит о реакции настроения и изучает ее, он создает понятия и законы, уводящие нас от мозга. Обращение к этому методу Павлов называет трусостью. Частью по привычке, частью вследствие некоторого «умственного устранения» он прибегал к психологическим объяснениям. «Но вскоре я понял, в чем состоит плохая услуга. Я был в затруднении тогда, когда не видел естественной связи явлений. Помощь психологии заключалась в словах: «животное вспомнило», «животное захотело», «животное догадалось», т. е. *это было только приемом адетерминистического думания, обходящегося без настоящей причины*» (курсив мой.— Л. В.) (там же, с. 273—274). В способе выражения психологов он видит обиду серьезного мышления.

И когда Павлов ввел в лабораториях штраф за употребление психологических терминов, то для истории теории науки это факт не меньшего значения и показательности, чем спор о символе веры для истории религии. Только Челпанов может над этим посмеяться: ученый не в учебнике, не в изложении предмета, а в лаборатории — в процессе исследования — штрафует за неверный термин. Очевидно, штраф налагался за беспричинное, беспространственное, неопределенное, мифологическое мышление, которое врывалось с этим словом в ход исследования и грозило взорвать все дело, как у американцев — внести отрывочность, бессистемность, вырвать фундамент.

Г. И. Челпанов вообще не подозревает, что новые слова могут быть нужны в лаборатории, при исследовании, что смысл, значение исследования определяются употребляемыми словами. Он критикует Павлова, говоря, что «торможение» есть выражение неясное, гипотетическое и что то же самое следует сказать и относительно термина «расторможение» (Г. И. Челпанов, 1925). Верно, мы не знаем, что происходит в мозгу при торможении — и все же это прекрасное, прозрачное понятие: прежде всего оно терминологично, т. е. точно определено в своем значении и границах; во-вторых, оно честно, т. е. говорит столько, сколько само знает; в настоящее время процессы торможения в мозгу не вполне ясны нам, но слово и понятие «торможение» вполне ясны; в-третьих, оно принципиально и научно,

364

т. е. вводит факт в систему, ставит его на фундамент, объясняет гипотетически, но причинно. Конечно, глаз мы себе представляем яснее, чем анализатор: именно поэтому слово «глаз» ничего не говорит в науке, термин «зрительный анализатор» говорит и меньше, и больше слова «глаз». Павлов открыл новую функцию глаза, сопоставил ее с функцией других органов, связал через нее весь сенсорный путь от глаза до коры мозга, указал ее место в системе поведения — и это все выражает новый термин. Что при этих словах мы должны подумать о зрительных ощущениях — верно, но генетическое происхождение слова и терминологическое его значение — две абсолютно разные вещи. Слово не содержит в себе *ничего* от ощущений; им может вполне пользоваться слепой. Поэтому те, кто вслед за Челпановым ловят у Павлова обмолвки, осколки психологического языка и уличают в непоследовательности, не понимают смысла дела: если Павлов говорит о радости, внимании, об идиоте (собаке)', то это только значит, что механизм радости, внимания и прочего *еще не изучен*, что это еще темные пятна системы, а не принципиальная уступка или противоречие.

Но все это может показаться неверным, если рассуждение не дополнять оборотной стороной. Конечно, терминологическая последовательность может стать педантством, «словесностью», пустым местом (школа Бехтерева). Когда же это бывает? Когда слово, как этикетка, наклеивается на готовый товар, а не рождается в процессе исследования. Тогда оно не терминологично, не разграничивает, а вносит неясность и кашеобразность в систему понятий.

Такая работа есть наклеивание новых ярлычков, ровно ничего не объясняющих, ибо нетрудно, конечно, изобрести целый каталог названий: рефлекс цели, рефлекс бога, рефлекс права, рефлекс свободы и пр. На все найдется свой рефлекс. Беда только в том, что ничего, кроме игры в бирюльки, мы здесь не получим. Это, значит, не опровергает, но методом от обратного подтверждает общее правило: новое слово идет в ногу с новым исследованием.

Подведем итоги. Мы видели везде, что слово, как солнце в малой капле воды, *целиком* отражает процессы и тенденции в развитии науки. В науке открывается некоторое принципиальное единство знания, идущее от высших принципов до выбора слова. Что же обеспечивает это

единство всей научной системы? Принципиально-методологический скелет. Исследователь, поскольку он не техник, регистратор и исполнитель, есть всегда философ, "который во время исследования и описания *мыслит* о явлении, и способ его мышления сказывается в словах, которыми он пользуется. Величайшая дисциплина мысли лежит в основе павловского штрафа: такая же дисциплина духа в основе научного понимания мира, как монастырская система — религиозного. Тот, кто придет в лабораторию со своим словом, вынужден будет повторить пример Павлова. Слово есть философия факта; оно может быть его мифологией и его научной

365

теорией. Когда Г. К. Лихтенберг⁸³ сказал: «Es denkt, sollte man sagen, so wie man sagt: es blitzt», — то он боролся против мифологии в языке. Сказать *cogito* слишком много — раз это переводят: «Я думаю». Разве физиолог согласился бы сказать: «Я провожу возбуждение по нерву»? Сказать «*Я думаю*» и «*Мне думается*» — значит дать две противоположные теории мышления: вся теория умственных поз Бине требует первого, теория Фрейда — второго, а теория Кюльпе — то одного, то другого выражения. Геффдинг сочувственно цитирует физиолога Фостера, который говорит, что впечатления животного, лишённого полушарий большого мозга, мы должны или «называть ощущениями... или же мы должны придумать для них совершенно новое слово» (Г. Геффдинг, 1908, с. 80), ибо мы наткнулись на *новую* категорию фактов и должны избрать способ, как мы будем ее мыслить — в связи со старой категорией или по-новому.

Из русских авторов Н. Н. Ланге понимал значение термина. Указывая, что в психологии нет общей системы, что кризис распатал всю науку, он замечает: «Можно сказать, не боясь преувеличения, что описание любого психического процесса получает иной вид, будем ли мы его характеризовать и изучать в категориях психологической системы Эббингауза или Вундта, Штумпфа или Авенариуса, Мейнонга или Бине, Джемса или Г. Э. Мюллера. Конечно, чисто фактическая сторона должна остаться при этом той же; однако в науке, по крайней мере в психологии, разграничить описываемый факт от его теории, т. е. от тех научных категорий, при помощи которых делается это описание, часто очень трудно и даже невозможно, ибо в психологии (как, впрочем, и в физике, по мнению Дюгема³⁴) всякое описание есть всегда уже и некоторая теория... Фактические исследования, особенно экспериментального характера, кажутся для поверхностного наблюдателя независимыми от этих принципиальных разногласий в основных научных категориях, разделяющих разные психологические школы» (Н. Н. Ланге, 1914, с. 43). Но в самой постановке вопросов, в том или ином употреблении психологических терминов содержится всегда то или иное понимание их, соответствующее той или иной теории, а следовательно, и весь фактический результат исследования сохраняется или отпадает вместе с правильностью или ложностью психологической системы. Самые, по-видимому, точные исследования, наблюдения и измерения могут, таким образом, оказаться при изменении смысла основных психологических теорий ложными или во всяком случае утратившими свое значение. Такие кризисы, разрушающие или обесценивающие целые ряды фактов, не раз бывали в науке. Ланге сравнивает их с землетрясением, возникающим благодаря глубоким деформациям в недрах земли; таково было падение алхимии (1914). Столь развившийся теперь в науке фельдшеризм, т. е. отрыв технической исполнительской функции исследования, главным образом обслуживания аппаратов по известному шаблону, от научного мышления, и ска-

366

зывается прежде всего в упадке научного языка. В сущности, это прекрасно знают все мыслящие психологи: в методологических исследованиях львиную долю забирает терминологическая проблема, требующая вместо простой справки сложнейшего анализа (Л. Бинсвангер, 1922). Г. Риккерт видит в создании однозначной терминологии важнейшую задачу психологии, предшествующую всякому исследованию, ибо при примитивных описаниях надо выбирать такие значения слов, которые бы, «обобщая, упрощали» необозримое разнообразие и множественность психических явлений (Л. Бинсвангер, 1922). В сущности, ту же мысль выразил еще Энгельс на примере химии: «В органической химии значение какого-нибудь тела, а, следовательно, также и название его, не зависит уже просто от его состава, а обусловлено скорее его положением в том *ряду*, к которому оно принадлежит. Поэтому, если мы находим, что какое-

нибудь тело принадлежит к какому-нибудь подобному ряду, то его старое название становится препятствием для понимания и должно быть заменено *названием, указывающим этот ряд* (парафины и т. д.)» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 609). То, что здесь доведено до строгости химического правила, существует в виде общего принципа во всей области научного языка.

«Параллелизм, — говорит Ланге, — есть невинное на первый взгляд слово, покрывающее однако страшную мысль — мысль о побочности и случайности техники в мире физических явлений» (1914, с. 96). Это невинное слово имеет поучительную историю. Введенное Лейбницем, оно стало применяться к тому решению психофизической проблемы, которое идет от Спинозы, меняя свое имя много раз: Геффдинг называет его гипотезой *тождества*, считая, что это «единственно меткое и подходящее название». Часто употреблявшееся название монизма этимологически правильно, но неудобно, потому что к нему прибегало «расплывчатое и непоследовательное мировоззрение». Названия параллелизма и двойственности не подходят, потому что «преувеличивают представление, будто духовное и телесное надо мыслить как два совершенно отдельных ряда развития (почти как пара рельсов на железнодорожном пути); а этого-то гипотеза как раз и не признает». Двойственностью следует назвать не гипотезу Спинозы, а Хр. Вольфа³⁶ (Г. Геффдинг, 1908, с. 91).

Итак, одну гипотезу называют то 1) монизмом, то 2) двойственностью, то 3) параллелизмом, то 4) тождеством. Прибавим, что возрождающий эту гипотезу круг марксистов (как будет показано ниже): Плеханов, а за ним Сарабьянов³⁶, Франкфурт и другие — видят в ней именно *теорию единства, но не тождества* психического и физического. Как же это могло произойти? Очевидно, что эта гипотеза сама может быть развита на почве тех или иных еще более общих воззрений и может принять тот или иной смысл в зависимости от них: одни подчеркивают в ней двойственность, другие — монизм и т. д.

Геффдинг замечает, что она не исключает более глубокой метафизической гипотезы, в частности идеализма (1908). Чтобы войти в состав философского мировоззрения, гипотезы требуют новой обработки, и эта новая обработка состоит в подчеркивании то одного, то другого момента. Очень важна справка Ланге: «Психофизический параллелизм мы находим у представителей самых разных философских направлений — у дуалистов (последователей Декарта³⁷), у монистов (Спиноза), у Лейбница (метафизический идеализм), у позитивистов-агностиков (Бэн, Спенсер³⁸), у Вундта и Паульсена³⁹ (волюнтаристическая метафизика)» (1914, с. 76).

Г. Геффдинг говорит о бессознательном как о выводе из гипотезы тождества; «Мы поступаем в этом случае подобно филологу, дополняющему отрывок древнего писателя посредством конъюнктурной критики. Духовный мир в сравнении с физическим является нам отрывком; только путем гипотезы есть возможность его дополнить...» (1908, с. 87). Это неизбежный вывод из параллелизма.

Поэтому не так уже не прав Челпанов, когда говорит, что до 1922 г. он называл эту доктрину параллелизмом, а с 1922 г. — материализмом. Он был бы вполне прав, если бы его философия не была приноровлена к сезону несколько механически. Так же обстоит дело со словом «функция» (имею в виду функцию в математическом смысле): перед нами в формуле «сознание есть функция мозга» — теория параллелизма, «физиологический смысл» — и перед нами материализм. Так что, когда Корнилов вводит понятие и термин функционального отношения между психикой и телом, хотя и признает параллелизм дуалистической гипотезой, сам *незаметно для себя вводит эту теорию*, ибо понятие функции в физиологическом смысле им отвергнуто и остается второе (К. Н. Корнилов, 1925).

Таким образом, мы видим, что, начиная с широчайших гипотез и кончая мельчайшими деталями в описании опыта, слово отражает общую болезнь науки. Специфически новое, что мы узнаем из анализа слов, — это представление о молекулярном характере процессов в науке. Каждая клеточка научного организма обнаруживает процессы инфицирования и борьбы. Отсюда мы получаем более высокое представление о характере научного знания: оно раскрывается как глубочайшим образом единый процесс. Наконец, мы получаем представление о здоровом и больном в процессах науки; то, что верно о слове, верно и о теории. Слово до тех пор продвигает

науку вперед, пока оно 1) вступает в отвоеванное исследованием место, т. е. поскольку оно отвечает объективному положению вещей, и 2) примыкает к верным исходным принципам, т. е. наиболее обобщенным формулам этого объективного мира.

Мы видим, таким образом, что научное изучение есть одновременно изучение факта и своего способа познания факта; иначе — что методологическая работа прodelьвается в самой науке, поскольку она продвигается вперед или осмысливает свои выводы. Выбор слова

368

есть уже методологический процесс. Особенно у Павлова легко видеть, как методология и эксперимент разрабатываются одновременно. Итак, наука философична до последних элементов, до слов, так сказать, пропитана методологией. Это совпадает со взглядом марксистов на философию как «науку о науках», как на синтез, проникающий в науку. В этом смысле Энгельс говорил: «Какую бы позу ни принимали естествоиспытатели, над ними властвует философия... Лишь когда естествознание и историческая наука впитают в себя диалектику, лишь тогда весь философский скарб... станет излишним, исчезнет в положительной науке» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 525).

Естествоиспытатели воображают, что освобождаются от философии, когда игнорируют ее, но они оказываются рабами в плену самой скверной философии, состоящей из мешанины отрывочных и бессистемных взглядов, так как исследователи без мышления не могут двигаться ни на шаг, а мышление требует логических определений. Вопрос о том, как трактовать методологические вопросы — «отдельно от самих наук» или вводить методологическое исследование в самую науку (курс, исследование), есть вопрос педагогической целесообразности. Прав С. Л. Франк^{4и}, когда говорит, что в предисловиях и в заключительных главах все книги по психологии трактуют проблемы философской психологии (1917). Одно дело, однако, излагать методологию — «вводить в понимание методологии» — это, повторяем, вопрос педагогической техники; другое дело методологическое исследование. Оно требует особого рассмотрения.

В пределе научное слово стремится к математическому знаку, т. е. к чистому термину. Ведь математическая формула есть тоже ряд слов, но слов до конца терминованных и потому условных в высшей степени. Поэтому всякое знание в такой мере научно, в какой математично (Кант). Но язык эмпирической психологии есть прямой антипод языка математического. Как показали Локк, Лейбниц и все языкознание, *все слова* психологии суть метафоры, взятые из пространств мира.

Мы переходим к положительным формулировкам. На отрывочных анализах отдельных элементов науки мы научились видеть в ней сложное, динамически и закономерно развивающееся целое. Какой же этап развития переживает наша наука сейчас, какой смысл и какова природа переживаемого ею кризиса и каков его исход? Переходим к ответу на эти вопросы. При некотором знакомстве с методологией (и историей) наук наука начинает представляться не в виде мертвого, законченного, неподвижного целого, состоящего из готовых положений, а в виде живой, постоянно развивающейся и идущей вперед системы доказанных фактов, законов, предположений, пост-

369

роений и выводов, непрерывно пополняемых, критикуемых, проверяемых, частично отвергаемых, по-новому истолковываемых и организуемых и т. д. Наука начинает пониматься *диалектически* в ее движении, со стороны ее динамики, ее роста, развития, эволюции. С этой же точки зрения следует оценить и осмыслить каждый этап развития. Итак, первое, от чего мы отправляемся, — это признание *кризиса*. В чем его смысл — понимают по-разному. Вот важнейшие типы истолкования этого смысла.

Прежде всего, есть психологи, отрицающие наличие кризиса вовсе. Таковы Челпанов и вообще большинство русских психологов старой школы (один Ланге да еще Франк видели, что делается в науке). По мнению таких психологов, все в науке благополучно, как в минералогии. Кризис пришел извне: некоторые лица затеяли реформу науки, официальная идеология потребовала пересмотра науки. Но ни для того, ни для другого нет объективных оснований в самой науке. Правда, в процессе спора пришлось признать, что и в Америке затеяли реформу

науки, но от читателя самым тщательным образом, а может быть, и искренне, скрывалось, что ни один *психолог*, оставивший след в науке, не миновал кризиса. Первое понимание настолько слепо, что не представляет для нас интереса. Оно объясняется вполне тем, что психологи этого типа, в сущности, эклектики и популяризаторы чужих идей, не только никогда не занимались исследованием и философией своей науки, но даже критически не оценивали всякой новой школы. Они принимали все: вюрцбургскую школу и феноменологию Гуссерля, экспериментатику Вундта — Титченера⁴¹ и марксизм, Спенсера и Платона. Не только теоретически такие люди вне науки, когда речь идет о больших в ней поворотах, но и практически они не играют никакой роли: эмпирики — они предали эмпирическую психологию, защищая ее; эклектики — они ассимилировали все, что успели, из враждебных им идей; популяризаторы — они ни для кого не могут быть врагами, они будут популяризировать ту психологию, которая победит. Уже сейчас Челпанов много печется о марксизме; скоро он будет изучать рефлексологию, и первый учебник победившего бихевиоризма составит именно он или его ученик. В целом это профессора и экзаменаторы, организаторы и культуртрегеры, но ни одно исследование сколь угодно значительного характера не вышло из их школ.

Другие видят кризис, но для них все оценивается весьма субъективно. Кризис разделит психологию на два лагеря. Граница между ними всегда проходит между автором такого взгляда и всем остальным миром. Но, по выражению Лотце⁴², даже полураздавленный червь противопоставляет свое отражение всему миру. Это официальная точка зрения воинствующего бихевиоризма. Уотсон полагает, что есть две психологии: правильная — его — и неправильная; старая умирает от своей половинчатости; самая большая деталь, которую он видит, — это существование половинчатых психологов;

средневековые традиции, с которыми не хотел порвать Вундт, погубили психологию без души (Дж. Уотсон, 1926). Как видите, все упрощено до крайности: никакой особой трудности превращения психологии в естественную науку нет — для Уотсона это совпадает с точкой зрения обыкновенного человека, т. е. методологией здравого-смысла. Так же, в общем, оценивает, эпохи в психологии Бехтерев: все до Бехтерева — ошибка, все после Бехтерева — истина. Так же оценивают кризис многие из психологов: это, как субъективная, самая легкая и первая наивная точка зрения. Психологи, которых мы рассматривали в главе о бессознательном, рассуждают тоже так: есть эмпирическая психология, пропитанная метафизическим идеализмом, это пережиток; и есть истинная методология эпохи, совпадающая с марксизмом. Все, что не есть первое, есть уже тем самым второе, раз не дано никакого третьего.

Психоанализ во многом противоположен эмпирической психологии. Уже одного этого достаточно, чтобы признать его системой марксистской! Для этих психологов кризис совпадает с той борьбой, которую они ведут. Есть союзники и враги, других различий нет.

Не лучше и объективно-эмпирические диагнозы кризиса: подсчитывается число школ и выставляется балл кризиса. Олпорт, перечисляя течения американской психологии, встал на эту точку зрения — подсчета школ — школа Джемса и школа Титченера, бихевиоризм и психоанализ. При этом перечисляются *рядом* единицы, участвующие в разработке науки, но ни малейшей попытки проникнуть в объективный смысл того, что защищает каждая школа, в динамические отношения между школами, не делается.

Ошибка усугубляется, когда в таком положении начинают видеть принципиальную характеристику кризиса. Тогда стирается грань между *этим* кризисом и всяким другим, между кризисом в *психологии* и во всякой *другой науке*, между всяким частным разногласием и спором и кризисом, одним словом, допускается антиисторический и антиметодологический подход, приводящий обычно к абсурду.

Ю. В. Португалов, желая доказать неокончателность и относительность рефлексологии, не только скатывается в чистейший агностицизм и релятивизм, но приходит к прямой нелепости. «По химии, механике, электрофизике и электрофизиологии головного мозга идет сплошная ломка и ничего еще ясного и определенного не доказано» (Ю. В. Португалов, 1925, с. 12). Доверчивые люди верят в естествознание, но «когда мы остаемся в своей медицинской среде, то

действительно ли мы, положив руку на сердце, верим в столь незыблемую и стойкую силу естествознания... и верит ли само естествознание... в свою незыблемость, стойкость и истинность» (там же). Далее идет перечисление смены теорий в естествознании, причем все свалено в одну кучу; между незыблемостью или нестойкостью отдельной теории и всего естествознания ставится знак равенства, и то, что составляет основу истинности естествознания — смену те-

орий и взглядов,— выдают за доказательство его бессилия. Что это агностицизм, совершенно ясно, но два момента заслуживают быть отмеченными для дальнейшего: 1) при всем хаосе взглядов, которыми рисуется естествознание, не имеющее ни одной устойчивой точки, незыблемой оказывается только... субъективная детская психология, основанная на интроспекции; 2) среди всех наук, доказывающих несостоятельность естествознания, между оптикой и бактериологией приводится геометрия. Оказывается: «Эвклид⁴³ говорил, что сумма углов треугольника равняется двум прямым; Лобачевский⁴⁴ развенчал Эвклида и доказал, что сумма углов треугольника меньше двух прямых, а Риман⁴⁵ развенчал Лобачевского и доказал, что сумма углов треугольника больше двух прямых» (там же, с. 13).

Мы еще не раз встретимся с аналогией между геометрией и психологией, и поэтому стоит запомнить этот образец аметодологичности: 1) геометрия — естественная наука, 2) Линней⁴⁶ — Кювье⁴⁷ — Дарвин так же «развенчивали» друг друга, как Эвклид — Лобачевский — Г. Ф. Б. Риман), 3) наконец, Лобачевский *развенчал* Эвклида и доказал... Но даже элементарная грамотность включает в себя знание о том, что речь идет не о познании *реальных* треугольников, а *идеальных* фигур в математических — *дедуктивных* системах, где *три* эти положения вытекают из *трех* разных предпосылок и не противоречат друг другу, как иные арифметические системы счета не противоречат десятичной. Они *существуют*, и в этом весь их смысл и методологическая природа. Но какую цену может иметь для диагноза кризиса в индуктивной науке точка зрения, которая всякие два имени в последовательном порядке считает кризисом, а всякое новое мнение — опровержением истины?

Ближе к истине диагноз К. Н. Корнилова (1925), который видит борьбу двух течений — рефлексологии и эмпирической психологии и их синтез — марксистскую психологию.

Уже Ю. В. Франкфурт (1926) выставил мнение, что рефлексологию нельзя брать за одни скобки, что в ней есть противоположные тенденции и направления. Еще более это верно в отношении эмпирической психологии. Единой эмпирической психологии не существует вовсе. Да и вообще эта упрощенная схема скорее создана как программа боевых действий для критической ориентировки и размежевания, чем как анализ кризиса. Для последнего ей недостает указания на причины, тенденцию, динамику, прогноз кризиса; она есть логическая группировка наличных в СССР точек зрения — только.

Итак, во всем рассмотренном до сих пор нет *теории кризиса*, а есть субъективные, с точки зрения воюющих сторон составленные реляции штабов. Здесь важно победить противника, никто не станет тратить время на то, чтобы изучить его.

Еще ближе и уже в зародыше теорию кризиса представляет Н. Н. Ланге. Однако у него больше чувства кризиса, чем его понимания. Ему нельзя доверять даже в исторических справках. Для него

кризис начался с падения ассоцианизма—ближайший повод он принимает за причину. Установив, что в психологии «происходит ныне некоторый общий кризис», он продолжает: «Он состоит в смене прежнего ассоцианизма новой психологической теорией» (Н. Н. Ланге, 1914, с. 43). Это неверно уже потому одному, что ассоцианизм никогда не был общепризнанной психологической системой, составляющей стержень науки, а был и *до ныне остается* одним из борющихся течений, сильно подкрепленных в последнее время и возрождающихся в рефлексологии и бихевиоризме. Психология Милля, Бэна и Спенсера не была никогда чем-либо больше, чем то, что она есть сегодня. Она боролась сама против психологии способностей (И. Герbart) так же, как и

теперь сражается с ней. Это весьма субъективная оценка — видеть в ассоцианизме корень кризиса: сам Ланге считает его корнем отрицания сенсуалистической доктрины; но и по сегодня гештальттеория формулирует главный грех *-всей* психологии — в том числе и новейшей — как ассоцианизм.

На самом деле генеральная черта разделяет не сторонников и противников этого принципа, а сложившиеся на гораздо более глубоких основах группировки. Далее, не совсем верно сводить ее к борьбе воззрений отдельных психологов: важно вскрыть то общее и противоречивое, что стоит за отдельными мнениями. Ложная ориентировка Ланге в кризисе погубила его собственную работу: защищая принцип реалистической, биологической психологии, он бьет по Рибо и опирается на Гуссерля и других *крайних* идеалистов, отрицавших возможность психологии как естественной науки. Но кое-что, и немаловажное, он установил верно. Вот верные тезисы:

1. Отсутствие общепризнанной системы науки. Каждое изложение психологии у виднейших авторов построено по совершенно иной системе. Все основные понятия и категории толкуются по-разному. Кризис касается самых основ науки.

2. Кризис разрушителен, но благотворен: в нем скрывается рост науки, обогащение ее, сила, а не бессилие или банкротство. Серьезность кризиса вызвана промежуточностью ее территории между социологией и биологией, между которыми Кант хотел разделить психологию.

3. Никакая психологическая работа невозможна без установления основных принципов этой науки. Прежде чем приступить к постройке, надо заложить фундамент.

4. Наконец, общая задача — выработка новой теории — «обновленной системы науки». Однако глубоко неверно понимал он эту задачу: она состоит для него «в критической оценке всех современных психологических направлений и попытке их соглашения» (Н. Н. Ланге, 1914, с. 43). Он и пытался согласовать несогласуемое: Гуссерля и биологическую психологию; вместе с Джемсом он напал на Спенсера и с Дильтеем отказывался от биологии. Мысль о возможности соглашения явилась для него выводом из той мысли, что

373

«переворот произошел» «*против ассоцианизма и физиологической психологии*» (там же, с. 47) и что все новые течения связаны общностью исходной точки и цели. Поэтому у него суммарная характеристика кризиса: землетрясение, болотистая местность и пр. Для него «настал период хаоса» и задача сводится к «критике и логической обработке» разных мнений, порожденных общей причиной. Это картина кризиса, как она рисовалась участникам борьбы в 70-х гг. XIX в. Личный опыт Ланге — лучшее свидетельство борьбы реальных сил, действующих и определяющих кризис: соединение субъективной и объективной психологии считает он необходимым *постулатом психологии*, вместо того чтобы видеть в этом предмет спора и *проблему*. Вслед за тем он проводит эту двойственность через *всю* систему. Противопоставляя свое реалистическое или биологическое понимание психики идеалистической концепции П. Наторпа^{4в} (1909), он на деле принимает существование *двух* психологии, как мы увидим ниже.

Но самое любопытное заключается в том, что Эббингауз, которого Ланге считает ассоцианистом, т.е. докритическим психологом, вернее определяет кризис: по его мнению, сравнительное несовершенство психологии выражается в том, что относительно почти всех наиболее общих ее вопросов споры до сих пор не прекращаются. В других науках есть единодушие по всем последним принципам или основным воззрениям, которые должны быть положены в основу исследования, а если и происходит изменение, оно не носит характера кризиса: согласие скоро вновь восстанавливается. Совсем иначе, по мысли Г. Эббингауза (1912), обстоит дело в психологии. Здесь эти основные воззрения постоянно подвергаются живому сомнению, постоянно оспариваются.

В несогласии Эббингауз видит хроническое явление — отсутствие ясных, достоверных основ у психологии. И тот Brentano, с имени которого Ланге отсчитывает кризис, в 1874г. выдвинул требование, чтобы вместо многих психологий была создана одна психология. Очевидно, к тому времени уже было не только много направлений вместо одной системы, но *много психологий*. Это вернейший диагноз кризиса и сейчас. Методологи и сейчас утверждают, что мы стоим у того же пункта, который отметил Brentano (Л. Бинсвангер, 1922). Это значит, что в психологии

происходит не борьба воззрений, которые можно привести к соглашению и которые уже объединены общностью врага и цели; даже не борьба течений или направлений внутри одной науки, а *борьба разных наук*. Есть много психологии — это значит: борются различные, взаимно исключающие друг друга реальные типы науки. Психоанализ, интенциональная психология^{4В}, рефлексология — это все *типы разных наук*, отдельные дисциплины, тенденцирующие к превращению в *общую психологию*, т. е. к подчинению и исключению других дисциплин. Мы видели и смысл, и объективные признаки этой тенденции к общей науке. Нет большей

374

ошибки, чем принять эту борьбу за борьбу воззрений, Бинсвангер начинает с упоминания о требовании Brentano и замечаний В. Вин-дельбанда⁵⁰, что психология у каждого представителя начинается сначала. Причину этого он видит не в недостатке фактического материала, который собран в изобилии, и не в отсутствии философско-методологических принципов, которых тоже достаточно, а в отсутствии *совместной* работы между философами и эмпириками в психологии: «Нет ни одной науки, где теория и практика шли бы столь различными путями» (Л. Бинсвангер, 1922, с. 6). Психологии недостает методологии — вот вывод этого автора, и главное в том, что методологию сейчас *нельзя* создать. Нельзя сказать, чтобы общая психология уже исполнила свои задачи как ветвь методологии. Напротив, куда ни глянь, везде царит несовершенство, неуверенность, сомнения, противоречие. Мы можем говорить только о *проблеме* общей психологии и даже не о ней, но о введении в нее (там же, с. 5). У психологов Бинсвангер видит «смелость и волю к [созданию новой] психологии». Для этого им надо разорвать со столетними предрассудками, и это показывает одно: общая психология еще и сегодня не создана. Мы не должны спрашивать, как то делает Бергсон, что было бы, если бы Кеплер, Галилей⁵¹, Ньютон были психологами, но что может еще произойти, несмотря на то, что они были математиками (там же).

Итак, может показаться, что хаос в психологии вполне естественный и смысл кризиса, который осознала психология, таков: *существует много психологии, которые имеют тенденцию создать одну психологию путем выделения общей психологии*. Для этой последней не хватает Галилея, т. е. гения, который создал бы фундаментальные основы науки. Это общее мнение европейской методологии, как оно сложилось к концу XIX в. Некоторые авторы, главным образом французы, держатся этого мнения и сейчас. В России его защищал всегда Вагнер (1923), чуть ли не единственный психолог, занимавшийся методологическими вопросами. То же мнение высказывает он на основании анализа *Annes Psychologiques*, т. е. резюме мировой литературы. Вот его вывод: *итак, мы имеем целый ряд психологических школ, но не имеем единой психологии как самостоятельной области психологии*. Из того, что ее нет, не следует, что ее не может быть (там же). Ответ на вопрос, где и как ее найти, дает только история науки.

Вот как развилась биология. В XVII в. два натуралиста положили начало двум областям зоологии: Бюффон⁵² — описанию животных и их образа жизни и Линней — их классификации. Постепенно оба отдела обрастали рядом новых проблем, явились морфология, анатомия и т. д. Исследования эти были изолированными и представляли собой как бы отдельные науки, ничем не связанные друг с другом, кроме того, что все они изучали животных. Отдельные науки враждовали друг с другом, стремились занять превалярующее по-

375

ложение, так как соприкосновение между ними росло и они *не могли* стоять далее особняком. Гениальному Ламарку удалось интегрировать разрозненные знания в одной книге, которую он назвал «Философией зоологии». Он свои личные исследования объединил с чужими, Бюффона и Линнея в том числе, подвел им итоги, согласовал их между собой и создал область науки, которую Тревиранус назвал общей биологией. Из разрозненных дисциплин создалась единая и абстрактная наука, которая с трудами Дарвина стала на ноги. То, что сделалось с дисциплинами биологии до ее объединения в общую биологию или абстрактную зоологию в начале XIX в., по мнению Вагнера, происходит сейчас в области психологии начала XX в. Запоздалый синтез в виде *общей психологии* должен повторить синтез Ламарка, т. е. основываться на аналогичном принципе. Вагнер видит в этом не простую аналогою. Для него психология должна проделать *не сходный, но тот же* самый путь. Биопсихология есть *часть* биологии. Она есть абстракция конкретных школ

или их синтез, она имеет своим содержанием *достижения всех этих школ*; у нее, как и у общей биологии, не может быть своего специального метода исследования, она пользуется всякий раз методом той науки, которая входит в ее состав. Она учитывает достижения, *проверяя их с точки зрения эволюционной теории, и указывает им соответствующие места в общей системе* (В. А. Вагнер, 1923). Это выражение более или менее общего мнения.

Особенности, принадлежащие Вагнеру, вызывают сомнения: 1) общая психология, в его понимании, то составляет *часть* биологии, основывается на учении об эволюции (ее база) и т. д., следовательно, не нуждается в *своем* Ламарке и Дарвине и их открытиях и может осуществить свой синтез на основе уже наличных принципов; 2) то общая психология должна еще возникнуть таким путем, как возникла общая биология, которая не входит в биологию как ее часть, а существует рядом с ней; только так и можно понять *аналогию*, возможную между двумя сходными самостоятельными целыми, но не между, судьбой *целого* (биологии) и *части* (психологии).

Другое недоумение вызывает утверждение Вагнера, что биопсихология дает «как раз то самое, что требует от психологии Маркс» (там же, с. 53). Вообще, насколько *формальный* анализ Вагнера, видимо, безупречно верен, настолько попытка его решить проблему по существу и наметить *содержание* общей психологии методологически несостоятельна, даже просто не развита (часть биологии, Маркс). Но последнее нас сейчас и не занимает. Обратимся к формальному анализу. Верно ли, что психология наших дней переживает то, что биология до Ламарка, и идет к тому же?

Сказать так — значит умолчать о *самом важном и определяющем моменте* в кризисе и представить всю картину в ложном свете. Идет ли психология к соглашению или разрыву, возникнет общая психология из объединения или разъединения психологических дисциплин,

376

зависит от того, что несут в себе эти дисциплины — части ли будущего целого, как систематика, морфология и анатомия, или исключают друг друга принципы знания; какова природа *вражды* между дисциплинами — разрешимы ли противоречия, разъедающие психологию, или они непримиримы. И вот этого анализа специфических условий, при которых психология идет к созданию общей науки, нет у Вагнера, Ланге и других. Между тем европейская методология осознала уже гораздо более высокую степень кризиса и показала, *какие* существуют психологии, *сколько* их, *какие* возможны исходы. Но чтобы обратиться к этому, надо нацело расстаться с недоразумением, будто психология идет по пути, уже проделанному биологией, и в конце пути просто примкнет к ней как часть ее. Думать так — значит не видеть, что между биологией человека и животных вклинилась социология и разорвала психологию на две части, так что Кант и отнес ее к двум областям. Нужно построить так теорию кризиса, чтобы дать ответ и *на этот вопрос*.

11

Есть один факт, который закрывает глаза всем исследователям на истинное положение дел в психологии. Это эмпирический характер ее построений. Его, как пленку, как кожуру с плода, надо сорвать с построений психологии, чтобы увидеть их такими, какие они есть на самом деле. Обычно эмпиризм принимают на веру, без дальнейшего анализа, и трактуют все многообразие психологии как некоторое принципиально осуществленное научное единство, имеющее общий фундамент,— и все разногласия понимаются как вторичные, происходящие внутри этого единства. Но это ложная мысль, иллюзия. На деле эмпирической психологии как науки, имеющей хотя бы *один* общий принцип, нет, а попытка создать ее привела к поражению и банкротству самой идеи создать только эмпирическую психологию. Те же, которые заключают в общие скобки многие психологии по одному какому-нибудь общему признаку, противостоящему их собственному, как психоанализ, рефлексология, бихевиоризм (сознание — бессознательное, субъективизм — объективизм, спиритуализм — материализм), не видят того, что *внутри* этой эмпирической психологии происходят *те же* процессы, которые происходят между ней и отколовшейся от нее ветвью, и что *сами эти ветви* в своем развитии подчинены более *общим тенденциям*, которые действуют и могут быть, следовательно, верно поняты только на общем поле всей науки; внутри скобок находится *вся психология*. Что же такое *эмпиризм* современной психологии? Прежде всего, это понятие *чисто отрицательное* и по историческому происхождению, и по методологическому

смыслу, и по тому одному не может объединять что-либо. Эмпирическая — значит прежде всего: «психология без души» (Ланге), психология без всякой метафизики (Введенский), психоло-

377

гия, основанная на опыте (Геффдинг). Едва ли надо пояснять, что и это *по существу* отрицательное определение. Оно ничего не говорит о том, с чем же имеет дело психология, каков ее положительный смысл.

Однако объективный смысл этого отрицательного определения совершенно разный — когда-то и теперь. Когда-то он ничего не маскировал — задачей науки было освобождение *от чего-то*, термин был лозунгом для этого. Сейчас он *маскирует* положительные определения (которые каждый автор вносит в свою науку) и истинные процессы, происходящие в науке. По существу, ни чем иным, кроме временного лозунга, он и не мог быть. Теперь термин «эмпирическая» в приложении к психологии означает *отказ* от выбора определенного философского принципа, отказ выяснить свои конечные посылки, осознать собственную научную природу. Как таковой, этот отказ имеет исторический смысл и причину — мы на них остановимся ниже, — но по существу о природе науки он ничего не говорит, он её маскирует. Яснее всего выражено это у кантианца Введенского, но под его формулой подпишутся все эмпирики; в частности, то же говорит Геффдинг; все склоняются более или менее в одну сторону — Введенский дает идеальное равновесие: «Психология обязана так формулировать все свои выводы, чтобы они были одинаково приемлемыми и одинаково обязательными как для материализма, так и для спиритуализма с психофизическим монизмом» (А. И. Введенский, 1917, с. 3).

Уже из этой формулы видно, что эмпиризм формулирует свои задачи так, что сразу обнаруживает их *невозможность*. В самом деле, на почве эмпиризма, т. е. полного отказа от основных предпосылок, и логически невозможно, и исторически не было никакого научного знания. Естествознание, которому хочет уподобить себя этим определением психология, по природе своей, по неизвращенной своей сущности всегда *стихийно материалистично*. Все психологи согласны в том, что естествознание, как и вся человеческая практика, конечно, не решает вопроса о сущности материи и духа, но исходит из определенного его решения, именно из предпосылки объективно, вне нас закономерно существующей и познаваемой действительности. А это и есть, как неоднократно указывал В. И. Ленин, самое *существо* материализма (Полн. собр. соч., т. 18, с. 149 и др.). Существование естествознания как науки обязано умению отделить в нашем опыте объективно и независимо существующее от субъективного, и этому не противоречат отдельные философские толкования или целые школы в естествознании, идеалистически мыслящие. Естествознание как наука, само по себе, независимо от его носителей, материалистично. Столь же стихийно, несмотря на различные идеи ее носителей, психология исходила из идеалистической концепции.

На деле *нет ни одной* эмпирической системы психологии, все переходят за грань эмпиризма, и это так понятно: из чисто отрица-

378

тельной идеи ничего нельзя вывести; из «воздержания», по выражению Введенского, ничего не может родиться. Все системы на деле переплелись в своих выводах и уходили корнями в метафизику — первым сам Введенский со своей теорией солипсизма, т. е. крайнего выражения идеализма.

Если психоанализ откровенно говорит о метапсихологии, то неоткровенно всякая психология без души имела свою душу, без всякой метафизики — свою метафизику; основанная на опыте психология включала свое неоснованное на опыте; короче: всякая психология имела свою метапсихологию. Она могла не сознавать этого, но от этого дело не менялось. Челпанов, который больше всех в нынешнем споре укрывается за словом «эмпирическая» и хочет свою науку отграничить от области философии, находит, однако, что она должна иметь философскую «надстройку» и «подстройку». Оказывается, есть философские понятия, которые нужно рассмотреть *до изучения психологии*, и исследование, предваряющее психологию, он называет подстройкой: только с ней можно построить эмпирическую психологию (Г. И. Челпанов, 1924). Это не мешает ему страницей ниже утверждать, что психологию следует сделать свободной от ка-

кой бы то ни было философии; однако в заключение он еще раз признает, что именно *методологические проблемы суть очередные проблемы современной психологии*.

Было бы ложно думать, что из понятия эмпирической психологии мы не можем узнать ничего, кроме отрицательной характеристики; оно содержит указание и на положительные процессы в науке, прикрывающиеся этим именем. Словом «эмпирическая» психология хочет включить себя в ряд естественных наук. Здесь согласны все. А это весьма определенное понятие, и надо посмотреть, что оно обозначает в приложении к психологии. Т. Рибо в предисловии к энциклопедии (героически пытающейся осуществить то соглашение и единство, о котором говорили Ланге и Вагнер, и потому показывающей всю его невозможность) говорит, что психология есть часть биологии, она ни материалистична, ни спиритуалистична, иначе она потеряла бы право на звание науки. Чем же она отличается от других частей биологии? *Только* тем, что имеет дело с явлениями *spirituels*, а не физическими (1923).

Какая малость! Психология хотела быть естественной наукой, но о вещах совершенно иной природы, чем те, с которыми имеет дело естествознание. Но разве природа изучаемых явлений не обуславливает характера науки? Разве возможны как естественные история, логика, геометрия, история театра? И Челпанов, настаивая на том, чтобы психология была такой эмпирической наукой, как физика, минералогия и т. п., конечно, не присоединяется этим к Павлову и тотчас же начинает вопить, когда психологию пытаются осуществить как настоящую естественную науку. О чем же он умалчивает в этом уподоблении? Он хочет, чтобы психология была естественной наукой

379

1) о явлениях абсолютно другой природы, чем явления физические, 2) познаваемых совершенно иным способом, чем объекты естествознания. Спрашивается: при разном объекте, разном методе познания, что же может быть общего между естествознанием и психологией? А Введенский, разъяснив значение эмпирического характера психологии, говорит: «Поэтому современная психология нередко характеризует себя еще как *естественную науку о душевных явлениях или как естественную историю душевных явлений*» (А. И. Введенский, 1917, с. 3). Но это значит: психология хочет быть естественной наукой о неестественных явлениях. С естествознанием роднит ее чисто *отрицательная* черта — отказ от метафизики, а не одна *положительная*.

В чем здесь дело, блестяще разъяснил Джемс. Психологию должно излагать как естественную науку — его главный тезис. И никто не сделал так много, чтобы доказать «не естествонаучную» природу психического, как Джемс. Он разъясняет: все науки принимают на веру известные предпосылки — естествознание исходит из материалистической предпосылки, хотя более глубокий анализ приводит к идеализму; так же поступает психология — она принимает другие предпосылки, следовательно, она подобна естествознанию только в некритическом принятии на веру известных предпосылок, сами же предпосылки — противоположны.

По свидетельству Рибо, эта тенденция есть главная черта в психологии XIX в.; наряду с ней он называет стремление дать собственный принцип и метод психологии (в чем ей отказывал О. Конт) — поставить ее в такое отношение к биологии, в каком биология стоит к физике. Однако на деле первый автор признает: то, что называется психологией, содержит несколько категорий исследований, различных по цели и по методу. И когда, несмотря на это, авторы пытались прижить* систему психологии, включить в нее Павлова и Бергсона, они продемонстрировали, что эта задача неосуществима. И в заключение Дюма формулирует: единство 25 авторов заключалось в *отказе* от онтологических спекуляций (1924).

К чему приводит такая точка зрения, легко угадать: отказ от онтологических спекуляций, эмпиризм, *если он последователен*, приводят к отказу от *методологически-конструктивных принципов* в построении системы, к эклектизму; поскольку *он не последователен*, то он приводит к скрытой, некритической, путаной методологии. И то и другое блестяще показали французские авторы: психология реакции Павлова для них так же приемлема, как интроспективная, но в разных главах книги. У авторов книги в манере описывать факты и ставить проблемы, даже в словаре — тенденции ассоцианизма,

рационализма, бергсонизма, синтетизма. Далее объясняется, что бергсонская концепция применена в одних главах, язык ассоциа-

* В рукописи Л. С. Выготского так.— *Примеч. ред.*

380

низма и атомизма — в других, бихевиоризм — в третьих и пр. *Traite* хочет быть беспартийной, объективной и полной; если же ей это не всегда удавалось, то, подытоживает Дюма, ведь различие в мнениях свидетельствует об интеллектуальной активности, и в конце концов в этом она есть представительница своего времени и своей страны (там же). Вот это верно.

Различие в мнениях — мы видели, как далеко оно заходит,— только убеждает нас в невозможности беспартийной психологии сегодня, не говоря уже о роковой двойственности *Traite de psychologie*, для которой психология то часть биологии, то относится к ней, как сама биология к физике.

Итак, в понятии эмпирической психологии заключено неразрешимое методологическое противоречие; это естественная наука о неестественных вещах, это тенденция методом естественных наук развить полярно противоположные им системы знания, т. е. исходящие из полярно противоположных предпосылок. Это и отразилось губительно на методологической конструкции эмпирической психологии и перешибло ей хребет.

Существуют две психологии — естественнонаучная, материалистическая, и спиритуалистическая: этот тезис вернее выражает смысл кризиса, чем тезис о существовании *многих* психологии; именно *психологии* существует *две*, т. е. два разных, непримиримых типа науки, две принципиально разные конструкции системы знания; все остальное есть различие в воззрениях, школах, гипотезах; частные, столь сложные, запутанные и перемешанные, слепые, хаотические соединения, в которых бывает подчас очень сложно разобраться. Но борьба действительно происходит только между двумя тенденциями, лежащими и действующими за спиной всех борющихся течений.

Что это так, что смысл кризиса выражают две психологии, а не много психологии, что все остальное есть борьба *внутри* каждой из этих двух психологии, борьба, имеющая совсем другой смысл и другое поле действия, что создание общей психологии есть дело не соглашения, а разрыва,— это методология давно осознала, и против этого *никто не спорит*. (Отличие этого тезиса от трех направлений К. Н. Корнилова заключается *во всем объеме смысла кризиса*: 1) не совпадают понятия материалистической психологии и рефлексологии (у него), 2) не совпадают понятия эмпирической и идеалистической (у него), 3) не совпадает оценка роли марксистской психологии.) Наконец, здесь идет речь о двух тенденциях, проявляющихся в борьбе множества конкретных течений и внутри их. Никто не спорит о том, что создание общей психологии явится не третьей психологией к двум борющимся, а одной из двух.

Что понятие эмпиризма содержит в себе методологический конфликт, который сознающая себя теория должна разрешить, чтобы сделать возможным исследование,— эту мысль утвердил в общем созна-

381

нии Мюнстерберг. В капитальной методологической работе он заявил: эта книга не скрывает того, что хочет быть воинствующей книгой, что она выступает за идеализм против натурализма. Она хочет обеспечить в психологии неограниченное право идеализму (Г. Мюнстерберг, 1922). Закладывая теоретико-познавательные основы эмпирической психологии, он заявляет, что это и есть самое важное, то, чего недостает психологии наших дней. Ее основные понятия соединены волей случая, ее логические способы познания предоставлены инстинкту. Тема Мюнстерберга: синтез этического идеализма И. Г. Фихте с физиологической психологией нашего времени, ибо победа идеализма не в том, чтобы отмежеваться от эмпирического исследования, а в том, чтобы найти для него место в собственном кругу. Мюнстерберг показал, что натурализм и идеализм непримиримы, вот почему он говорит о книге воинствующего идеализма, говорит об общей психологии, что она отвага и риск,— не о соглашении и объединении идет речь. И Мюнстерберг

прямо выдвинул требование о существовании двух наук, утверждая, что психология находится в странном состоянии и что мы несравненно больше знаем о психологических фактах, чем когда-либо до сих пор, но гораздо меньше знаем о том, что, собственно, есть психология.

Единство внешних методов не может обмануть нас в том, что у различных психологов речь идет о совершенно различной психологии. Эту внутреннюю смуту можно понять и преодолеть только следующим образом. «Психология наших дней борется, с тем предрассудком, будто существует только один вид психологии... Понятие психологии включает в себе две совершенно различные научные задачи, которые следует принципиально различать и для которых лучше всего пользоваться особыми обозначениями. В действительности существует двоякого рода психология» (там же, с. 7). В современной науке представлены всевозможные формы и виды смешения двух наук в мнимое единство. Общее у наук — их объект, но это ничего не говорит о самих науках: геология, география и агрономия одинаково изучают землю; конструкция, принцип научного знания здесь и там различны. Мы можем путем описания превратить психику в цепь причин и действий и можем представить ее как комбинацию элементов — объективно и субъективно. Если оба эти понимания довести до конца и придать им научную форму, мы получим две «принципиально различные теоретические дисциплины». «Одна есть каузальная психология, другая — телеологическая и «итенциональная» (там же, с. 9).

Существование двух психологии столь очевидно, что его приняли все. Разногласия проявляются только в точном определении каждой науки, одни подчеркивают одни оттенки, другие — другие. Было бы очень интересно проследить все эти колебания, потому что каждое из них свидетельствует о какой-то объективной тенденции, прорывающейся к одному или другому полюсу, а размах, диапазон

382

разноречий показывает, что оба типа науки, как две бабочки в одном коконе, еще существуют в виде невыделившихся тенденций.

Но нас интересуют сейчас не разноречия, а то общее, что есть за ними.

Перед нами стоят два вопроса: какова общая природа обеих наук и каковы причины, приведшие к *раздвоению эмпиризма на натурализм и идеализм*?

Все согласны в том, что именно эти два элемента лежат в основе обеих наук, что, следовательно, одна есть естественнонаучная психология, другая — идеалистическая, как бы ни называли их разные авторы. Вслед за Мюнстербергом все видят различие не в материале или объекте, а в способе познания, в принципе — понимать ли явления в категории причинности, в связи и в принципиально тождественном смысле, как и все прочие явления, или понимать их интенционально, как духовную деятельность, направленную к цели и отрешенную от всяких материальных связей. Дильтей, который называет науки объяснительной и описательной психологией, возводит раздвоение к Хр. Вольфу, разделившему психологию на рациональную и эмпирическую, т. е. к самому возникновению эмпирической психологии. Он показывает, что раздвоение не прекращалось на всем пути развития науки и вновь вполне осознало себя в школе И. Гербарта (1849), в работах Т. Вайца (В. Дильтей, 1924). Метод объяснительной психологии совершенно тот же, что и у естествознания. Ее постулат; нет ни одного психического явления без физического — приводит ее к банкротству как самостоятельную науку, а дела ее переходят в руки физиологии (там же). Описательная и объяснительная психология имеют не тот смысл, что в естественных науках — систематика и объяснение — две основные части и по Бинсвангеру (1922).

Современная психология — это учение о душе без души — внутренне противоречивое, раскладывается на две части. Описательная психология стремится не к объяснению, а к описанию и пониманию. То, что поэты, в особенности Шекспир, дали в образах, она делает предметом анализа в понятиях. Объяснительная, естественнонаучная психология не может лечь в основу наук о духе, она конструирует детерминистическое уголовное право, не оставляет места для свободы, она не мирится с проблемой культуры. Напротив, описательная психология «будет основанием наук о духе, подобно тому как математика — основа естествознания» (В. Дильтей, 1924, с. 66).

Г. Стаут⁵³ прямо отказывается называть аналитическую психологию естественной наукой; она наука положительная, в том смысле, что ее область — факт, реальное, то, что есть, а не норма, не то, что должно быть. Она стоит рядом с математикой, естествознанием, гносеологией. Но она не физическая наука. Между психическим и физическим устанавливается такая пропасть, что нет возможности уловить их взаимоотношение. Никакая наука о материи не находится в

383

таком соотношении с психологией, в каком химия и физика — с биологией, т. е. в отношении более общих и более частных, но принципиально однородных принципов (Г. Стаут, 1923).

Л. Бинсвангер за основное разделение *всех* проблем методологии берет естественнонаучное и неестественнонаучное понятия психического. Он разъясняет прямо и ясно, что есть две в корне различные психологии. Ссылаясь на Зигварта, он называет источником раскола борьбу против естественнонаучной психологии. Это ведет нас к феноменологии переживаний, основе чистой логики Гуссерля и эмпирической, но неестественнонаучной психологии (А. Пфендер⁵⁴, К. Ясперс⁵⁵).

Противоположную позицию занимает Блейлер. Он отклоняет мнение Вундта о том, что психология не есть естественная наука, и вслед за Риккертом называет ее генерализующей, хотя имеет в виду то же, что Дильтей под объясняющей или конструктивной.

Мы не будем сейчас рассматривать вопрос по существу — возможна психология в качестве естественной науки, при помощи каких понятий она конструируется—это все спор *внутри одной* психологии, и он составляет предмет положительного изложения следующей части нашей работы. Больше того, мы оставляем открытым и другой вопрос — действительно ли психология есть естественная наука в точном смысле; мы употребляем вслед за европейскими авторами это слово, чтобы наиболее ясно обозначить материалистический характер этого рода знания. Поскольку западно-европейская психология не знала или почти не знает проблемы социальной психологии, постольку этот род знания совпадает для нее с естествознанием. Но это еще особая и очень глубокая проблема — показать, что психология возможна как материалистическая наука, но она не входит в проблему смысла психологического кризиса как целого.

Из русских авторов, сколько-нибудь серьезно писавших по психологии, почти все принимают это разделение, конечно, с чужих слов, что показывает, до какой степени общепризнаны эти идеи в европейской психологии. Ланге, приводя разногласие Виндельбандта и Риккерта, относящих психологию к естествознанию, с Вундтом и Дильтеем, склонен различать вместе с последним две науки (Н. Н. Ланге, 1914). Примечательно, что он критикует П. Наторпа как выразителя идеалистического понимания психологии и противопоставляет ему реалистическое или биологическое понимание. И однако Наторп, по свидетельству Мюнстерберга, требовал с самого начала того же самого, что и он, т. е. субъективирующей и объективирующей науки о душе, т. е. двух наук.

Сливая ту и другую точки зрения в одном постулате, Н. Н. Ланге отразил в своей книге обе непримиримые тенденции, считая, что смысл кризиса в борьбе с ассоцианизмом. Он с полным сочувствием излагает Дильтея и Мюнстерберга и формулирует: «оказалось две

384

разные психологии», у психологии обнаружилось два лика, как у Януса: один обращенный к физиологии и естествознанию, другой — к наукам о духе, к истории, социологии; одна наука о причинно-стях, другая — о ценностях (там же, с. 63). Казалось бы, остается выбрать *одну из двух*, а Ланге соединяет обе.

Так же поступал Челпанов. В нынешней полемике он закликает верить ему, что психология — материалистическая наука, и приводит в свидетели Джемса и ни словом не упоминает о том, что *ему* принадлежит идея двух психологии в русской литературе. На ней [идее.— *Ред.*] стоит остановиться.

Он излагает вслед за Дильтеем, Стаутом, Мейнонгом, Гуссерлем идею аналитического метода. Если естественнонаучной психологии присущ индуктивный метод, то описательную психологию характеризует аналитический метод, приводящий к познанию априорных идей. Аналитическая психология есть психология *основная*. Она должна предвзреть построение детской, зоо- и

экспериментально-объективной психологии и лечь в основу всех видов психологического исследования. Как будто не похоже на минералогию и физику, на полное отделение психологии от философии и от идеализма.

Кто хотел бы показать, *какой* скачок сделал в психологических воззрениях с 1922 г. Г. И. Челпанов, должен остановиться не на общефилософских его формулах и случайных фразах, а на его учении об аналитическом методе. Челпанов протестует против смешения задач объяснительной психологии и описательной, разъясняя, что одна находится в решительной противоположности к другой. Чтобы не оставить сомнения, что это за психология, которой он приписывает первенствующее значение, он приводит ее в связь с феноменологией Гуссерля, его учением об идеальных сущностях, и поясняет, что эйдос или сущность Гуссерля — это идеи Платона с некоторыми поправками. Для Гуссерля феноменология относится к описательной психологии так, как математика к физике. Первые, как геометрия, есть наука о сущностях, об идеальных возможностях, вторые — о фактах. Феноменология делает возможной объяснительную и описательную психологию.

Для Челпанова, вопреки мнению Гуссерля, феноменология в некоторой части покрывается аналитической психологией, а метод феноменологический вполне тождествен методу аналитическому. Несогласие Гуссерля видеть в эйдетической психологии то же самое, что феноменология, Челпанов объясняет так. Под современной психологией он понимает только эмпирическую, т. е. индуктивную, между тем как в ней есть и феноменологические истины. Итак, выделять феноменологию из психологии не надо. В основу экспериментально-объективных методов, которые робко защищает Челпанов против Гуссерля, должен быть положен феноменологический. Так было, так будет, заканчивает автор.

385

Как сопоставить с этим утверждения, что психология только эмпирична, исключает по самой природе своей идеализм и независима от философии?

Мы можем резюмировать: как бы ни называть рассматриваемое разделение, какие бы ни подчеркивать оттенки смысла в каждом термине, основная суть вопроса остается той же везде и сводится к двум положениям.

1. Эмпиризм в психологии на деле исходил столь же стихийно из идеалистических предпосылок, как естествознание — из материалистических, т. е. эмпирическая психология была идеалистической в основе.

2. В эпоху кризиса эмпиризм по некоторым причинам раздвоился на идеалистическую и материалистическую психологии (о них ниже). Различие слов поясняет и Мюнстерберг как единство смысла: мы можем наряду с каузальной психологией говорить об интенциональной психологии, или о психологии духа наряду с психологией сознания, или о психологии понимания наряду с объяснительной психологией. Принципиальное значение имеет лишь то обстоятельство, что мы признаем двоякого рода психологию (Г. Мюнстерберг, 1922, с. 10). Еще в другом месте Мюнстерберг противопоставляет психологию содержания сознания и психологию духа, или психологию содержаний и психологию актов, или психологию ощущений и интенциональную психологию.

В сущности, мы пришли к давно установившемуся в нашей науке мнению о глубокой двойственности ее, пронизывающей все ее развитие, и, таким образом, примкнули к бесспорному историческому положению. В наши задачи не входит история науки, и мы можем оставить в стороне вопрос об исторических корнях двойственности и ограничиться ссылкой на этот факт и выяснением *ближайших причин*, приведших к обострению и разъединению двойственности в кризисе. Это, в сущности, тот же факт тяготения психологии к двум полюсам, то же внутреннее наличие в ней «психотелеологии» и «психобиологии», которое Дессуар назвал пением в два голоса современной психологии и которое, по его мнению, никогда не замолкнет в ней.

Мы должны теперь кратко остановиться на ближайших причинах кризиса или на его движущих силах.

Что толкает к кризису, к разрыву и что *переживает* его пассивно, только как неизбежное зло? Разумеется, мы остановимся лишь на движущих силах, лежащих *внутри* нашей науки,

оставляя все другие в стороне. Мы имеем право так сделать, потому что внешние — социальные и идейные — причины и явления представлены так или иначе, в конечном счете, силами внутри науки и действуют в виде этих последних. Поэтому наше намерение есть анализ ближай-

ших причин, лежащих в науке, и отказ от более глубокого анализа.

Скажем сразу: *развитие прикладной психологии во всем ее объеме — главная движущая сила кризиса в его последней фазе.*

Отношение академической психологии к прикладной до сих пор остается полупрезрительным, как к полуточной науке. Не все благополучно в этой области психологии — спору нет; но уже сейчас даже для наблюдателя по верхам, т. е. для методолога, нет никакого сомнения в том, что ведущая роль в развитии нашей науки сейчас принадлежит прикладной психологии: в ней представлено все прогрессивное, здоровое, с зерном будущего, что есть в психологии; она дает лучшие методологические работы. Представление о смысле происходящего и возможности реальной психологии можно составить себе только из изучения этой области.

Центр в истории науки передвинулся; то, что было на периферии, стало определяющей точкой круга. Как и о философии, отвергнутой эмпиризмом, так и о прикладной психологии можно сказать: камень, который презрели строители, стал во главу угла.

Три момента объясняют сказанное. Первый — *практика*. Здесь (через психотехнику, психиатрию, детскую психологию, криминальную психологию) психология *впервые* столкнулась с высокоорганизованной практикой — промышленной, воспитательной, политической, военной. Это прикосновение заставляет психологию перестроить свои принципы так, чтобы они выдержали высшее испытание практикой. Она заставляет усвоить и ввести в науку огромные, накопленные тысячелетиями запасы практически-психологического опыта и навыков, потому что и церковь, и военное дело, и политика, и промышленность, поскольку они сознательно регулировали и организовывали психику, имеют в основе научно неупорядоченный, но огромный психологический опыт. (Всякий психолог испытал на себе перестраивающее влияние прикладной науки.) Она для развития психологии сыграет ту же роль, что медицина для анатомии и физиологии и техника для физических наук. Нельзя преувеличивать значение новой практической психологии для *всей* науки; психолог мог бы сложить ей гимн.

Психология, которая призвана практикой подтвердить истинность своего мышления, которая стремится не столько объяснить психику, сколько понять ее и овладеть ею, ставит в принципиально иное отношение практические дисциплины во всем строе науки, чем прежняя психология. Там практика была колонией теории, во всем зависимой от метрополии; теория от практики не зависела нисколько; практика была выводом, приложением, вообще выходом за пределы науки, операцией занаучной, посленаучной, начинавшейся там, где научная операция считалась законченной. Успех или неуспех практически нисколько не отражался на судьбе теории. Теперь положение обратное; практика входит в глубочайшие основы

научной операции и перестраивает ее с начала до конца; практика выдвигает постановку задач и служит верховным судом теории, критерием истины; она диктует, как конструировать понятия и как формулировать законы.

Это переводит нас прямо *ко-второму моменту* — к *методологии*. Как это ни странно и ни парадоксально на первый взгляд, но именно практика, как конструктивный принцип науки, требует философии, т. е. методологии науки. Этому нисколько не противоречит то легкомысленное, «беззаботное», по слову Мюнстерберга, отношение психотехники к своим принципам; на деле и практика, и методология психотехники часто поразительно беспомощны, слабосильны, поверхностны, иногда смехотворны. Диагнозы психотехники ничего не говорят и напоминают размышления мольеровских врачей о медицине; ее методология изобретается всякий раз *ad hoc*, и ей недостает критического вкуса; ее часто называют дачной психологией, т. е. облегченной, временной, полусерьезной. Все это так. Но это нисколько не меняет того принципиального положения дела, что именно она, эта психология, создает железную

методологию. Как говорит Мюнстерберг, не только в общей части, но и при рассмотрении специальных вопросов мы принуждены будем всякий раз возвращаться к исследованию принципов психотехники (1922, с. 6).

Поэтому я и утверждаю: несмотря на то что она себя не раз компрометировала, *что ее практическое значение очень близко к нулю, а теория часто смехотворна, ее методологическое значение огромно*. Принцип практики и философии — еще раз — тот камень, который презрели строители и который стал во главу угла. В этом весь смысл кризиса.

Л. Бинсвангер говорит, что не от логики, гносеологии или метафизики ожидаем мы решения самого общего вопроса — вопроса вопросов всей психологии, проблемы, включающей в себя проблемы психологии, — о субъективирующей и объективирующей психологии, — но от методологии, т. е. учения о научном методе (Бинсвангер). Мы сказали бы: от методологии психотехники, т. е. от *философии практики*. Сколь ни очевидно ничтожна практическая и теоретическая цена измерительной шкалы Бине или других психотехнических испытаний, сколь ни плох сам по себе тест, как идея, как методологический принцип, как задача, как перспектива это огромно. Сложнейшие противоречия психологической методологии переносятся на почву практики и только здесь могут получить свое разрешение. Здесь спор перестает быть бесплодным, он получает конец. Метод — значит путь, мы понимаем его как средство познания; но путь во всех точках определен целью, куда он ведет. Поэтому практика перестраивает всю методологию науки.

Третий момент реформирующей роли психотехники может быть понят из двух первых. Это то, что психотехника *есть односторонняя* психология, она толкает к разрыву и оформляет реальную психоло-

гию. За границы идеалистической психологии переходит и психиатрия; чтобы лечить и излечить, нельзя опираться на интроспекцию; едва ли вообще можно до большего абсурда довести эту идею, чем приложив ее к психиатрии. Психотехника, как отметил И. Н. Шпильрейн, тоже осознала, что не может отделить психологических функций от физиологических, и ищет целостного понятия. Я писал об учителях (от которых психологи требуют вдохновения), что едва ли хоть один из них доверил бы управление кораблем вдохновению капитана и руководство фабрикой — воодушевлению инженера; каждый выбрал бы ученого моряка и опытного техника. И вот эти высшие требования, которые вообще только и могут быть предъявлены к науке, высшая серьезность практики будут живительны для психологии. Промышленность и войско, воспитание и лечение оживят и реформируют науку. Для отбора вагоновожатых не годится эйдетическая психология Гуссерля, которой нет дела до истины ее утверждений, для этого не годится и созерцание сущностей, даже ценности ее не интересуют. Все это нисколько не страхует ее от катастрофы. Не Шекспир в понятиях, как для Дильтея, есть цель такой психологии, но *психотехника — в одном слове*, т. е. научная теория, которая привела бы к подчинению и овладению психикой, к искусственному управлению поведением.

И вот Мюнстерберг, этот воинствующий идеалист, закладывает основы психотехники, т. е. материалистической в высшем смысле психологии. Штерн, не меньший энтузиаст идеализма, разрабатывает методологию дифференциальной психологии и с убийственной силой обнаруживает несостоятельность идеалистической психологии.

Как же могло случиться, что крайние идеалисты работают на материализм? Это показывает, как глубоко и объективно необходимо заложены в развитии психологии обе борющиеся тенденции; как мало они совпадают с тем, что психолог сам говорит о себе, т. е. с субъективными философскими убеждениями; как невыразимо сложна картина кризиса; в каких смешанных формах встречаются обе тенденции; какими изломанными, неожиданными, парадоксальными зигзагами проходит линия фронта в психологии, часто внутри одной и той же системы, часто внутри одного термина — наконец, как *борьба двух психологий не совпадает с борьбой многих воззрений и психологических школ, но стоит за ними и определяет их*; как обманчивы внешние формы кризиса и как надо в них вычитывать стоящий за их спиной истинный смысл.

Обратимся к Мюнстербергу. Вопрос о правомерности каузальной психологии имеет решающее значение для психотехники. Эта односторонняя каузальная психология только теперь вступает в свои права. Сама по себе каузальная психология есть ответ на искусственно поставленные вопросы: душевная жизнь сама по себе требует не объяснения, а понимания. Но психотехника может работать

389

только с этой «неестественной» постановкой вопроса и свидетельствует о ее необходимости и правомерности. «Так, только в психотехнике выявляется подлинное значение объяснительной психологии, и, таким образом, в ней завершается система психологических наук» (Г. Мюнстерберг, 1922, с. 8—9). Трудно яснее показать объективную силу тенденции и несовпадения убеждений философа с объективным смыслом его работы: материалистическая психология неестественна, говорит идеалист, но я *вынужден* работать именно в *такой психологии*.

Психотехника направлена на действие, на практику — а здесь мы поступаем принципиально иначе, чем при чисто теоретическом понимании и объяснении. Психотехника поэтому *не может* колебаться в выборе той психологии, которая ей нужна (даже если ее разрабатывают последовательные идеалисты), она имеет дело исключительно с каузальной, с психологией объективной; некаузальная психология не играет никакой роли для психотехники.

Именно это положение имеет решающее значение для всех психотехнических наук. Она — сознательно — односторонняя. Только она есть эмпирическая наука в полном смысле слова. Она — неизбежно — наука сравнительная. Связь с физическими процессами для этой науки есть нечто столь основное, что она является физиологической психологией. Она есть экспериментальная наука. И общая формула: «Мы исходили из того, что единственная психология, в которой нуждается психотехника, должна быть описательно-объяснительной наукой. Мы можем теперь прибавить, что эта психология, кроме того, есть наука эмпирическая, сравнительная, наука, пользующаяся данными физиологии, и, наконец, экспериментальная наука» (там же, с. 13). Это значит, что психотехника вносит переворот в развитие науки и обозначает эпоху в ее развитии. С этой точки зрения Мюнстерберг говорит, что эмпирическая психология едва ли *возникла* раньше середины XIX в. Даже в тех школах, где отвергалась метафизика и исследовались факты, изучение руководилось другим интересом. Применение [эксперимента.— *Ред.*] было невозможно, пока психология не стала естественной наукой; но с введением эксперимента создалось парадоксальное положение, немислимое в естествознании: аппараты, как первая машина или телеграф, были известны лабораториям, но применены к практике. Воспитание и право, торговля и промышленность, социальная жизнь и медицина не были затронуты этим движением. До сих пор считается осквернением исследования его соприкосновение с практикой и советуют ждать, пока психология завершит свою теоретическую систему. Но опыт естественных наук говорит о другом: медицина и техника не ждали, пока анатомия и физика отпразднуют свои последние триумфы. Не только жизнь нуждается в психологии и практикует ее в других формах везде, но и в психологии надо ждать подъема от этого соприкосновения с жизнью.

390

Конечно, Мюнстерберг не был бы идеалистом, если бы он это положение дел принял так, как оно есть, и не оставил особой области для неограниченных прав идеализма. Он только переносит спор в другую область, признавая несостоятельность идеализма в области каузальной, питающей практику психологии. Он объясняет «гносеологическую терпимость», он выводит ее из идеалистического понимания сущности науки, которая ищет различения не истинных и ложных понятий, но пригодных или непригодных для представлений целей. Он верит, что между психологами может установиться некоторое временное перемирие, как только они покинут поле битвы психологических теорий (там же).

Поразительный пример внутреннего разлада между методологией, определяемой наукой, и философией, определяемой мировоззрением, представляет весь труд Мюнстерберга именно потому, что он до конца последовательный методолог и до конца последовательный философ, т. е.

до конца противоречивый мыслитель. Он понимает, что, будучи материалистом в каузальной и идеалистом в телеологической психологии, он приходит к своего рода двойной бухгалтерии, которая необходимо должна быть недобросовестной, потому что записи на одной стороне совсем не те, что записи на другой: ведь в конце концов мыслима все же только одна истина. Но для него ведь истина не сама жизнь, но логическая переработка жизни, а последняя может быть разная, определяемая многими точками зрения (там же, с. 30). Он понимает, что не отказа от гносеологической точки зрения требует эмпирическая наука, а *определенной теории*, но в разных науках применимы разные гносеологические точки зрения. В интересах практики мы выражаем истину на одном языке, в интересах духа — на другом.

Если у естественников есть разногласия во мнениях, то они не касаются основных предпосылок науки. Для ботаники не представляет никаких затруднений сговориться с другим исследователем относительно характера материала, над которым он работает. Ни один ботаник не останавливается на вопросе о том, что, собственно, значит: растения существуют в пространстве и во времени, над ними господствуют законы причинности. Но природа психологического материала не позволяет отделить психологические положения от философских теории настолько, насколько этого удалось достигнуть в других эмпирических науках. Психолог впадает в принципиальный самообман, воображая, будто лабораторная работа может привести его к решению основных вопросов своей науки; они принадлежат философии. Кто не желает вступать в философское обсуждение принципиальных вопросов, просто-напросто должен молчаливо положить в основу специальных исследований ту или другую гносеологическую теорию (там же). Именно гносеологическая терпимость, а не отказ от гносеологии привели Мюнстерберга к идее двух психологии, из которых одна отрицает другую, но которые обе могут быть

приняты философом. Ведь терпимость не означает атеизма; в мечети он магометанин, а в соборе — христианин.

Может возникнуть только одно существенное недоразумение: что идея двойной психологии приводит к *частичному* признанию прав каузальной психологии, что двойственность переносится в саму психологию, которую разделяют на два этапа; что и *внутри* каузальной психологии Мюнстерберг объявляет терпимость, *но это абсолютно не так*. Вот что он говорит: «Может ли рядом с каузальной психологией существовать телеологически мыслящая, можем ли мы и должны ли в научной психологии трактовать телеологическую апперцепцию или сознание задачи, или аффекты и волю, или мышление? Или эти основные вопросы не занимают психотехника, так как он знает, что, во всяком случае, мы можем овладеть всеми этими процессами и психическими функциями, пользуясь языком каузальной психологии, и что с этим каузальным пониманием только и может иметь дело психотехника?» (там же, с. 11).

Итак, обе психологии нигде не пересекаются друг с другом, нигде не дополняют друг друга — они служат *двум* истинам — одной в интересах практики, другой в интересах духа. Двойная бухгалтерия ведется в мировоззрении Мюнстерберга, но не в психологии. Материалист примет у Мюнстерберга *вполне* его концепцию каузальной психологии и отвергнет двоицу наук; идеалист отвергнет двоицу тоже и примет *вполне* концепцию телеологической психологии; сам Мюнстерберг объявляет гносеологическую терпимость и принимает обе науки, но разрабатывает одну в качестве материалиста, другую — в качестве идеалиста. Таким образом, спор и двойственность совершаются за пределами каузальной психологии; она не составляет ни от чего часть и *сама по себе* не входит членом ни в какую науку.

Этот поучительнейший пример того, как в науке идеализм *вынужден* становиться на почву материализма, всецело подвергается на примере *любого* другого мыслителя.

В. Штерн, приведенный к объективной психологии проблемами дифференциального изучения, которое тоже является одной из главных причин новой психологии, проделал тот же путь. Но мы исследуем не мыслителей, а их судьбу, т. е. стоящие за ними и ведущие их объективные процессы. А они открываются не в индукции, а в анализе. По выражению Энгельса, одна паровая машина не менее убедительно показывает законы превращения энергии, чем 100 000 машин (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 543). В виде курьеза надо только добавить:

русские идеалисты-психологи в предисловии к переводу Мюнстерберга отмечают среди его заслуг то, что он отвечает стремлениям психологии поведения и требованиям цельного подхода к человеку, не распыляющего его психофизическую организацию на атомы. Что делают большие идеалисты как трагедию, то повторяют маленькие как фарс.

392

Мы можем резюмировать. Причину кризиса мы понимаем как его движущую силу, а потому имеющую не только исторический интерес, но и руководящее — методологическое — значение, так как она не только привела к созданию кризиса, но и продолжает определять его дальнейшее течение и судьбу. Причина эта лежит в развитии прикладной психологии, приведшей к перестройке всей методологии науки на основе принципа практики, т. е. к превращению ее в естественную науку. Этот принцип давит на психологию и толкает ее к разрыву на две науки; он обеспечивает в будущем правильное развитие материалистической психологии. Практика и философия становятся во главу угла.

Многие психологи видели в введении эксперимента принципиальную реформу психологии и даже отождествляли экспериментальную и научную психологию. Они предсказывали, что будущее принадлежит только экспериментальной психологии, и видели в этом эпитете важнейший методологический принцип. Но эксперимент остался в психологии на уровне технического приема, не был использован принципиально и привел, например у Н. Аха, к собственному отрицанию. Ныне многие психологи видят исход *в методологии*, в правильном построении принципов; они ждут спасения с другого конца. Но и их работа бесплодна. Только принципиальный отказ от слепого эмпиризма, плетущегося в хвосте непосредственного интроспективного переживания и внутренне расколотого надвое; только эмансипация от интроспекции, выключение ее, как глаза в физике; только разрыв и выбор одной психологии дают выход из кризиса. Диалектическое единство методологии и практики, с двух концов приложенное к психологии, — судьба и удел одной психологии; полный отказ от практики и созерцание идеальных сущностей — удел и судьба другой; полный разрыв и отделение друг от друга — их общий удел и общая судьба. Разрыв этот начался, происходит и закончится по линии *практики*.

Сколь ни очевидна после анализа историческая и методологическая догма о растущем разрыве двух психологии как формула динамики кризиса, она оспаривается многими. Само по себе это нас не занимает: найденные нами тенденции потому и кажутся нам выражением истины, что они имеют объективное существование и не зависят от воззрений того или иного автора, наоборот — сами определяют эти воззрения, поскольку становятся психологическими воззрениями и вовлекаются в процесс развития науки.

Поэтому нас не должно удивлять, что существуют различные воззрения на этот счет; мы с самого начала поставили себе за цель не исследование воззрений, а того, на что эти воззрения направлены. Это и отделяет критическое исследование воззрений того или

393

иного автора от методологического анализа самой проблемы. Но одно должно все же занимать нас; мы не вовсе равнодушны к воззрениям; именно, мы должны уметь *объяснить* их, вскрыть объективную, внутреннюю их логику, проще — представить всякую борьбу воззрений как сложное выражение борьбы двух психологии. В целом это задача критики *на основе* настоящего анализа, и надо доказать на примере важнейших течений психологии, *что* может дать при их понимании найденная нами догма. Однако показать *возможность* этого, установить принципиальный ход анализа входит в наши задачи здесь.

Сделать это проще всего на анализе тех систем, которые откровенно становятся на сторону одной или другой тенденции или даже смешивают их. Но гораздо труднее, а потому привлекательнее другая задача — показать на примере таких систем, которые принципиально ставят себя *вне* борьбы, вне этих двух тенденций, которые ищут выхода в третьем и как будто отрицают нашу догму только о двух путях психологии. Есть еще третий путь, говорят они: обе борющиеся тенденции можно слить, или подчинить одну другой, или устранить вовсе и создать новую, или

подчинить обе чему-то третьему и т. д. Принципиально бесконечно важно для утверждения нашей догмы показать, куда ведет этот третий путь, потому что с этим она сама стоит и падает.

По принятому нами способу мы рассмотрим, как действуют обе объективные тенденции в системах воззрений сторонников третьего пути; взнуданы ли они или остаются господами положения; короче, кто кого ведет — конь или всадник?

Прежде всего точно выясним разграничение воззрения и тенденции. Воззрение может само отождествлять себя с известной тенденцией и все же не совпадать с ней. Так, бихевиоризм прав, когда утверждает, что научная психология возможна только как естественная наука; однако это не значит, что он *осуществляет* ее как естественную науку, что он не компрометирует эту идею. Тенденция для всякого воззрения *есть задача*, а не данное; сознавать задачу еще не значит уметь решить ее. На почве одной тенденции могут быть разные воззрения, и в одном воззрении могут быть в различной степени представлены обе тенденции.

С этим четким разграничением мы можем перейти к системам третьего пути. Их существует очень много. Однако большинство принадлежит либо слепцам, бессознательно путающим два пути, либо сознательным эклектикам, перебегающим с тропинки на тропинку. Пройдем мимо; нас занимают принципы, а не их извращения. Таких принципиально чистых систем есть три: гештальттеория, персонализм и марксистская психология. Рассмотрим их в нужном нам разрезе. Объединяет все три школы общее убеждение, что психология как наука невозможна ни на основе эмпирической психологии, ни на основе бихевиоризма и что есть третий путь, стоящий над

394

обоими этими путями и позволяющий осуществить научную психологию, не отказываясь ни от одного из двух подходов, но объединив их в одно целое. Каждая система решает эту задачу по-своему — и у каждой своя судьба, а вместе они исчерпывают *все* логические возможности третьего пути, точно специально оборудованный методологический эксперимент.

Гештальттеория решает этот вопрос, вводя основное понятие структуры (гештальт), которое объединяет и функциональную и дескриптивную стороны поведения, т. е. является *психофизическим* понятием. Объединить то и другое в объекте одной науки возможно, только найдя нечто существенно *общее* у того и другого и сделав предметом изучения именно это *общее*. Ибо, если признать психику и тело за две разные, разделенные пропастью, не совпадающие ни в одном свойстве вещи, то, конечно, невозможна будет одна наука о двух абсолютно разных вещах. Это центр всей методологии новой теории. Принцип гештальта применим ко *всей природе* одинаково. Это не особенность только психики; принцип носит психофизический характер. Он же [гештальт.— *Ред.*] применим к физиологии, физике и вообще ко всем реальным наукам. Психика только *часть* поведения, сознательные процессы являются частичными процессами больших целых (К. Коффка, 1925). Еще яснее говорит об этом М. Вертгаймер. Формула всей гештальттеории сводится к следующему: *то, что происходит в части какого-нибудь целого, определяется внутренними законами структуры этого целого*. «Гештальттеория есть это, не больше и не меньше» (М. Вертгаймер, 1925, с. 7). Психолог В. Келер (1924) показал, что и в физике происходят принципиально те же процессы. И это *методологически* примечательнейший факт и для гештальттеории решающий аргумент. Принцип изучения одинаков для психического, органического и неорганического — это значит, что психология вводится в контекст естественных наук, что психологическое исследование возможно в физических принципах. Вместо бессмысленного соединения абсолютно гетерогенного психического и физического гештальттеория утверждает их связь: они части одного целого, Только европеец поздней культуры может так делить психическое и физическое, как мы это делаем. Человек танцует. Разве на одной стороне — сумма мускульных движений, на другой — радость, воодушевление? То и другое родственно по структуре. Сознание не привносит ничего принципиально нового, требующего других способов изучения. Где границы между материализмом и идеализмом? Есть психологические теории и даже много учебников, которые, несмотря на то что говорят только об элементах сознания, бездушнее, бессмысленнее, тупее, материалистичнее, чем растущее дерево.

Что все это значит? Только то, что гештальттеория осуществляет материалистическую психологию, поскольку она принципиально и методологически последовательно складывает свою систему. *Видимо*

395

противоречит этому учение гештальттеории о феноменальных реакциях, об интроспекции, но только видимо, потому что психика для этих психологов есть феноменальная *часть поведения*, т. е. принципиально они избирают *один путь из двух*, а не третий.

Другой вопрос: последовательно ли эта теория проводит свой взгляд, не натывается ли на противоречия в своих воззрениях, верно ли выбраны средства для осуществления этого пути? Но нас интересует не это, а методологическая система принципов. И мы можем еще сказать: все, что в воззрениях гештальттеории не совпадает с этой тенденцией, есть проявление другой тенденции. Если психику описывают в тех же понятиях, что и физику,— это есть путь естественнонаучной психологии.

Легко показать, что В. Штерн (1924) в теории персонализма проделывает обратный путь развития. Желая избежать обоих путей и встать на третий, он фактически становится тоже *на один из двух* — путь идеалистической психологии. Он исходит из того, что: мы не имеем психологии, но имеем много психологии. Желая сохранить предмет психологии в аспекте одной и другой тенденций, он вводит понятие психофизически нейтральных актов и функций и приходит к допущению: психическое и физическое проходят одинаковые ступени развития — это разделение есть вторичный факт, оно возникает из того, что личность может являться себе и другим; основной факт — существование психофизически нейтральной личности и ее психофизически нейтральных актов. Итак, единство достигается введением понятия психофизического нейтрального акта.

Посмотрим, что на деле скрывается за этой формулой. Оказывается, Штерн проделывает обратный путь, который знаком нам по гештальттеории. Для него организм и даже неорганические системы суть тоже психофизические нейтральные личности; растения, Солнечная система и человек должны пониматься принципиально одинаково, но путем распространения на непсихический мир телеологического принципа. Перед нами телеологическая психология. Третий путь опять оказался *одним из двух* знакомых путей. Опять речь идет о методологии персонализма: какова была бы идеально построенная по этим принципам психология. Но какова она на деле — это другой вопрос. На деле Штерн, как Мюнстерберг, вынужден быть сторонником каузальной психологии в дифференциальной психологии; на деле он дает материалистическую концепцию сознания, т. е. внутри его системы происходит все та же знакомая нам борьба, по ту сторону которой он хотел — безуспешно — стать.

Третьей системой, пытающейся стать на третий путь, является складывающаяся на наших глазах система марксистской психологии⁵⁶, Анализ ее затруднителен, потому что она не имеет еще своей методологии⁵⁷ и пытается найти ее в готовом виде в случайных психологических высказываниях основоположников марксизма⁵⁸, не говоря уже о том, что найти готовую формулу психики в чужих

396

сочинениях — значило бы требовать «науку прежде самой науки». Нужно заметить, что разнородность материала, отрывочность, перемена значения фразы вне контекста, полемический характер большинства высказываний, верных именно в отрицании ложной мысли, но пустых и общих в смысле положительного определения задачи, никак не позволяют ждать от этой работы чего-либо большего, чем более или менее случайный ворох цитат и талмудическое их толкование. Но цитаты, расположенные в лучшем порядке, никогда не дадут системы.

Другой формальный недостаток подобной работы сводится к смешению двух целей в таких исследованиях; ведь одно дело рассматривать марксистское учение с историко-философской точки зрения и совсем другое — исследовать самые проблемы, которые ставили эти мыслители. Если же соединить то и другое вместе, получится двойная невыгода: для решения проблемы привлекается один автор, проблема ставится только в тех размерах и разрезах, в которых она *мимоходом* и совсем по другому поводу затронута у автора; искаженная постановка вопроса

касается его случайных сторон, не затрагивая центра, не развертывая *ее так*, как того требует само существо вопроса.

Боязнь словесного противоречия приводит к путанице гносеологических и методологических точек зрения и т. п.

Но и вторая цель — изучение автора — тоже не достигается этим путем, потому что автор волей-неволей модернизируется, втягивается в сегодняшний спор, а главное — грубо искажается произвольным сведением в систему надерганных из разных мест цитат. Мы могли бы сказать так: ищут, во-первых, *не там, где надо*; во-вторых, *не то, что нужно*; в-третьих, *не так, как нужно*. Не там — потому что ни у Плеханова, ни у кого другого из марксистов *нет того, чего у них ищут*, у них нет не только законченной методологии психологии, но даже зачатков ее; перед ними не стояла эта проблема и их высказывания на эту тему носят прежде всего непсихологический характер; даже гносеологической доктрины о способе познания психического у них нет⁵⁹. Разве такое простое дело создать хотя бы гипотезу о психофизическом соотношении! Плеханов вписал бы свое имя в историю философии рядом со Спинозой, если бы он сам создал какую-либо психофизическую доктрину. Он не мог этого сделать, потому что и сам никогда не занимался психофизиологией, и наука не могла дать еще повода для построения такой гипотезы.

За гипотезой Спинозы стояла вся физика Галилея: в ней [гипотезе.— *Ред.*] заговорил переведенный на философский язык весь принципиально обобщенный опыт естествознания, впервые познавший единство и закономерность мира. А что в психологии могло породить такую доктрину? Плеханова и других интересовала всегда местная цель: полемическая, разъяснительная, вообще — цель кон-

текста, но не самостоятельная, не обобщенная, не возведенная в ранг доктрины мысль.

Не то, что надо, потому что нужна методологическая система принципов, с которыми можно начать исследование, а ищут *ответа по существу*, того, что лежит в неопределенной конечной научной точке многолетних коллективных исследований. Если бы уже был ответ, незачем было бы строить марксистскую психологию. Внешним критерием искомой формулы должна быть ее методологическая пригодность; вместо этого ищут возможно меньше говорящую, осторожную, воздерживающуюся от решения важнейшую антологическую формулу. Нам нужна формула, которая *бы нам служила* в исследованиях,— ищут формулу, которой мы должны служить, которую мы должны доказать. В результате натываются на формулы, которые методологически *парализуют* исследование: таковы отрицательные понятия и т. п. Не показывают, как можно осуществить науку, исходя из этих случайных формул.

Не так, потому что мышление сковано авторитетным принципом; изучают не методы, но догмы; не освобождаются от метода логического наложения двух формул; не принимают критического и свободно-исследовательского подхода к делу.

Но все эти три порока проистекают из одной причины: непонимания исторической задачи психологии и смысла кризиса; этому специально посвящен следующий раздел. Здесь я говорю все это, чтобы яснее сделать границу между воззрениями и системой, чтобы снять с системы ответственность за грехи воззрений; мы будем говорить об ошибочно понимаемой системе. Мы можем это сделать с тем большим правом, что само это понимание не осознало, куда оно ведет.

Новая система кладет в основу третьего пути в психологии понятие реакции, в отличие от рефлекса и психического явления заключающее в себе и субъективный, и объективный момент в целостном акте реакции. Однако, в отличие и от гештальттеории, и от Штерна, новая теория отказывается от методологической посылки, объединяющей обе части реакции в одно понятие. Ни видение в психике принципиально тех же структур, что в физике, ни усмотрение в неорганической природе цели, энтелехии и личности, ни путь гештальттеории, ни путь Штерна не ведут к цели.

Новая теория принимает вслед за Плехановым доктрину психофизического параллелизма и полную несводимость психического к физическому, видя в этом грубый, вульгарный материализм. Но как возможна *одна* наука о *двух* принципиально, качественно разнородных и несводимых категориях бытия? Как возможно их слияние в целостном акте реакции? На эти

вопросы мы имеем два ответа. Корнилов видит между ними функциональное отношение, но этим сразу уничтожается всякая *целостность*: в функциональном отношении могут стоять две *разные* величины. Изучать психологию в понятиях реакции нельзя, ибо *внутри* реакции заключены два не-

398

сводимых к единству, функционально зависимых элемента. Психофизическая проблема этим не решена, но перенесена *внутри каждого элемента* и поэтому делает невозможным исследование ни в одном шаге, как она в целом связывала всю психологию. Там было неясно отношение всей области психики ко всей области физиологии, здесь в каждой отдельной реакции запутана та же неразрешимость. Что *методологически* предлагает это решение проблемы? Вместо того чтобы решить ее проблематически (гипотетически) в начале исследования — решать ее экспериментально, эмпирически в каждом отдельном случае. Но ведь это невозможно. И как возможна одна наука с двумя принципиально различными методами познания, не способами исследования — в интроспекции видит К. Н. Корнилов не технический прием, а единственно адекватный способ познания психического. Ясно, что методологически цельность реакции остается *ria desiderata*, а на деле такое понятие ведет к двум наукам, с двумя методами, изучающими две различные стороны бытия. Другой ответ дает Ю. В. Франкфурт (1926). Вслед за Г. В. Плехановым он запутывается в безнадежном и неразрешимом противоречии, желая доказать материальность нематериальной психики, а для физиологии связать два несвязуемых пути науки. Схема его рассуждений такова: идеалисты видят в материи инобытие духа; механистические материалисты — в духе инобытие материи. Диалектический материалист сохраняет оба члена антиномии. Психика для него 1) особое свойство, несводимое к движению, среди *многих* других свойств; 2) внутреннее состояние движущейся материи; 3) субъективная сторона материального процесса. Противоречивость и разнородность этих формул будет вскрыта при систематическом изложении понятий психологии; тогда я надеюсь показать, какое искажение смысла вносят такие сопоставления вырванных из абсолютно разных контекстов мыслей. Здесь занимает нас исключительно *методологическая* сторона вопроса: как же возможна *одна* наука о *двух* принципиально разных родах бытия. Общего у них нет ничего, сведены к единству они быть не могут, но, может быть, между ними есть такая однозначная связь, которая позволяет объединить их? Нет. Плеханов ясно говорит: марксизм не признает «*возможности объяснить или описать один род явлений с помощью представлений или понятий, «развитых» для объяснения или описания другого*» (цит. по: Ю. В. Франкфурт, 1926, с. 51). «Психика, — говорит Франкфурт, — это *особое* свойство, описываемое или объясняемое с помощью своих *особых* понятий или представлений» (там же). Еще раз — то же (с. 52—53) — *разными* понятиями. Но ведь это значит: есть две науки — одна о поведении как своеобразной форме движения человека, другая — о психике как недвижении. Франкфурт и говорит о физиологии в узком и в широком смысле — с учетом психики. Но будет ли это физиология? Достаточно ли захотеть, чтобы наука возникла по нашему *fiat*. Пусть нам покажут хоть

399

один пример *одной* науки о *двух* разных родах бытия, объясняемых и описываемых при помощи разных понятий, или покажут возможность такой науки.

В этом рассуждении есть два пункта, которые категорически показывают *невозможность* такой науки.

1. Психика есть особое качество или свойство материи, но качество не есть часть вещи, а особая способность. Но качеств вещи у материи очень много, психика — одно *из них*. Плеханов сравнивает отношение между психикой и движением с отношениями между растительным свойством и удобосгораемостью, твердостью и блеском льда. Но тогда почему есть только два члена антиномии; их должно быть столько, сколько есть качеств, т. е. много, бесконечно много. Очевидно, вопреки Чернышевскому, между всеми качествами есть нечто общее; есть *общее понятие*, под которое можно подвести все качества материи: и блеск, и твердость льда, и удобосгораемость, и рост дерева. Иначе было бы столько наук, сколько качеств; одна наука о блеске льда, другая — о его твердости. То, что говорит Н. Г. Чернышевский, *просто нелепо как*

методологический принцип. Ведь и внутри психики есть свои разные качества: боль так же похожа на сладость, как блеск на твердость — опять особое свойство.

Дело все в том, что Плеханов оперирует *общим понятием психики*, под которое подведено множество разнообразнейших качеств, а таким же *общим понятием*, под которое подводятся все другие качества, будет движение. Очевидно, психика к движению стоит принципиально в ином отношении, чем качества друг к другу: и блеск, и твердость, и в конце концов — движение; и боль, и сладость, и в конце концов — психика. Психика не одно из многих свойств, а одно из двух. Но, значит, в конце концов есть *два* начала, а не одно и не много. Методологически это значит, что сохраняется полностью дуализм науки. Это особенно ясно из 2-го пункта.

2. Психическое не влияет на физическое, по Плеханову (1922). Франкфурт (1926) выясняет, что оно влияет само на себя опосредованно, через физиологическое, у него своеобразная действенность. Если мы соединим два прямоугольных треугольника, то их формы образуют новую форму — квадрат. Формы сами по себе не воздействуют, «как вторая, «формальная» сторона соединения наших материальных треугольников». Заметим, что это есть *точная* формулировка знаменитой *Schattentheorie* — теории теней: два человека подают друг другу руки, их тени делают то же; по Франкфурту, тени «воздействуют» друг на друга через тела.

Но методологическая проблема совсем не в этом. Понимает ли автор [Франкфурт.— *Ред.*], что он пришел к чудовищной для материалиста формулировке природы нашей науки? В самом деле, что это за наука о тенях, формах, зеркальных призраках? Наполовину автор понимает, куда он пришел, но не видит, что это значит. Разве

400

возможна естественная наука о формах как таковых, наука, пользующаяся индукцией, понятием причинности? Только в геометрии мы изучаем абстрактные формы. Последнее слово сказано: психология возможна, как геометрия. Но именно это есть высшее выражение эйдетической психологии Гуссерля, такова описательная психология Дильтея как математика духа, такова феноменология Челпанова, аналитическая психология Стаута, Мейнонга, Шмидта-Коважика. Их всех объединяет с Франкфуртом вся принципиальная структура; они пользуются той же аналогией.

1. Надо изучать психику, как геометрические формы,— *вне причинности*; два треугольника не родят квадрата, круг ничего не знает о пирамиде; ни одно отношение реального мира нельзя перенести в идеальный мир форм и психических сущностей: их можно только описывать, анализировать и классифицировать, но не объяснять. Основным свойством психики Дильтей считает то, что члены его связаны не по закону причинности: «В представлениях не заключается достаточного основания для перехода их в чувства; можно вообразить существо, обладающее лишь способностью представления, которое в пылу битвы было бы равнодушным и безвольным зрителем собственного своего разрушения. В чувствах не заключается достаточного основания для перехода их в волевые процессы; можно вообразить то же существо взирающим на происходящий вокруг него бой с чувством страха и ужаса, тогда как эти чувства не выливаются в защитные движения» (1924, с. 99).

Именно потому, что эти понятия адетерминистичны, беспричинны и беспространственны, именно потому, что они построены по типу геометрических абстракций, Павлов отвергает их пригодность для науки: они несоединимы с материальной конструкцией мозга. Именно потому, что они геометричны, мы вслед за Павловым говорим, что они непригодны для реальной науки.

Но как возможна наука, соединяющая геометрический метод с индуктивно-научным? Дильтей прекрасно понимал, что материализм и *объяснительная* психология предполагают друг друга. «Последний во всех своих оттенках есть объяснительная психология. Всякая теория, полагающая в основу связь физических процессов и лишь включающая в них психические факты, есть материализм» (там же, с. 30).

Именно желание отстоять самостоятельность духа и всех наук о духе, боязнь перенесения на этот мир закономерности и необходимости, царствующей в природе, приводят к боязни объяснительной психологии. «Ни одна... объяснительная психология не может быть положена в основу наук о духе» (там же, с. 64). Это означает: нельзя науки о духе изучать материалистически.

О, если бы Франкфурт понимал, что означает на деле его требование психологии как геометрии; его признание особой связи — «действенности» — не физической причинности психики; его отказ от объяснительной пси-

401

хологии — ни много, ни мало: *отказ от понятий закономерности во всей области духа, об этом идет спор*. Русские идеалисты это прекрасно понимают: тезис Дильтея о психологии — для них тезис, противостоящий механистическому пониманию исторического процесса.

2. Вторая черта той психологии, к которой пришел Франкфурт, заключена в методе, в природе знания этой науки. Если психика не вводится в связь процессов природы, если она внепричинна, то ее нельзя изучать индуктивным путем, наблюдая реальные факты и обобщая их, ее надо изучать умозрительным методом: непосредственным усмотрением истины в этих платоновских идеях или психических сущностях. В геометрии нет места индукции; что доказано для одного треугольника, доказано для всех. Она изучает не реальные треугольники, а идеальные абстракции — отделенные от вещей их отдельные свойства, доведенные до предела и взятые в идеально чистом виде. Для Гуссерля феноменология так относится к психологии, как математика к естествознанию. Но было бы невозможно осуществить геометрию и психологию, по Франкфурту, как естественную науку. Их разделяет метод. Индукция основана на многократном наблюдении фактов и на обобщении, полученном опытным путем; аналитический (феноменологический) метод — на непосредственном однократном усмотрении истины. Об этом стоит подумать: нам надо точно знать, какова та наука, с которой мы хотим нацело порвать. Здесь в учении об индукции и анализе заключено одно существенное недоразумение, которое надо вскрыть.

Анализ вполне планомерно применяется и в каузальной психологии, и в естествознании; и там мы часто *из единичного наблюдения выводим общую закономерность*. В частности, засилье индукции и математической обработки и недоразвитие анализа значительно погубили дело Вундта и всей экспериментальной психологии.

В чем же отличие одного анализа от другого, или, чтобы не впадать в ошибку,— аналитического метода от феноменологического? Если мы узнаем это, мы нанесем на нашу карту последнюю черту, проводящую границу между двумя психологиями.

Метод анализа в естественных науках и в каузальной психологии состоит в изучении *одного явления, типичного* представителя целого ряда, и выведении отсюда положения *обо всем ряде*. Челпанов поясняет эту мысль, приводя пример с изучением свойств различных газов. Так, мы утверждаем что-либо о свойствах всех газов, после того как произвели эксперимент над каким-либо одним газом. Делая такого рода заключение, мы подразумеваем, что тому газу, над которым проведен эксперимент, присущи свойства всех других газов. В таком умозаключении, по Челпанову, присутствуют одновременно и индуктивный, и аналитический методы.

Действительно ли это так, т. е. действительно ли возможно смешение, соединение геометрического метода с естественнонаучным

402

или здесь только смешение терминов и слово *анализ* употребляется Челпановым в двух, совершенно различных смыслах? Вопрос слишком важен, чтобы пройти мимо: кроме того что нам нужно разделить две психологии, надо возможно глубже и дальше рассечь их методы, так как у них *не может быть* общих методов; помимо того что нас интересует та часть метода, которая после рассечения достанется описательной психологии, потому что мы хотим ее точно знать,— помимо всего этого, *мы не хотим при разделе уступить ей ни йоты* принадлежащей нам территории; аналитический метод принципиально слишком важен для построения всей социальной психологии, как увидим ниже, чтобы отдать его без боя.

Наши марксисты, разъясняя гегелевский принцип в марксистской методологии, правильно утверждают, что каждую вещь можно рассматривать как микрокосм, как всеобщую меру, в которой отражен весь большой мир. На этом основании они говорят, что изучить *до конца*, исчерпать одну какую-нибудь вещь, один предмет, одно явление — значит познать весь мир во всех его связях. В этом смысле можно сказать, что каждый человек есть в той или иной степени

мера того общества или, скорее, класса, к которому он принадлежит, ибо в нем отражена вся совокупность общественных отношений. Мы видим уже из этого, что познание от единичного к общему есть ключ ко всей социальной психологии; нам нужно отвоевать для психологии право рассматривать единичное, индивида как социальный микрокосм, как тип, как выражение или меру общества. Но об этом придется говорить только тогда, когда мы останемся один на один с каузальной психологией; здесь же нам надо исчерпать до конца тему о разделении.

В примере Челпанова безусловно верно то, что анализ не отрицает в физике индукции, но именно благодаря ей делает возможным однократное наблюдение, дающее общий вывод. В самом деле, по какому праву мы распространяем наш вывод с одного газа на все? Очевидно, только потому, что путем прежних индуктивных наблюдений мы вообще выработали понятие газа и установили объем и содержание этого понятия. Далее, потому, что мы изучаем данный единичный газ *не как таковой*, а с особой точки зрения, мы изучаем осуществленные в нем общие свойства газа: именно этой возможности, т. е. точке зрения, позволяющей отделить в единичном его особенное от общего, мы обязаны анализу.

Итак, анализ принципиально не противоположен индукции, а родствен ей: он есть высшая ее форма, отрицающая ее сущность (многократность). Он опирается на индукцию и ведет ее. Он ставит вопрос; он лежит в *основе всякого эксперимента*; всякий эксперимент есть анализ в действии, как всякий анализ есть эксперимент в мысли; поэтому правильно было бы назвать его *экспериментальным методом*. В самом деле, когда я экспериментирую, я изучаю *A, B, C...*, т. е. ряд конкретных явлений, и распределяю выводы на *разные*

403

группы: на всех людей, на детей школьного возраста, на деятельность и т. д. Анализ и предлагает объем распространения выводов, т. е. выделение в *A, B, C* общих для данной группы черт. Но и далее: в эксперименте я наблюдаю всегда один выделенный признак явления, и это опять работа анализа.

Перейдем к индуктивному методу, чтобы пояснить анализ: рассмотрим ряд применений этого метода.

И. П. Павлов изучает фактически деятельность *слюнной железы у собаки*. Что дает ему право назвать свой опыт изучением высшей нервной деятельности *животных*? Быть может, он должен был проверить свои опыты на коне, вороне и т. д.— на всех или, по крайней мере, на большинстве животных, чтобы иметь право сделать выводы? Или, может быть, он должен был свой опыт назвать так: изучение слюноотделения у собаки? Но именно слюноотделения собаки *как такового* Павлов и не изучал, и его опыт ни на йоту не увеличил наших знаний о собаке как таковой и насчет слюноотделения как такового. Он в собаке изучал не собаку, а *животное вообще*, в слюноотделении — *рефлекс вообще*, т. е. у этого животного и в этом явлении он выделил то, что есть общего у них со всеми однородными явлениями. Поэтому его выводы не только касаются всех животных, но и всей биологии: установленный факт выделения слюны у данных павловских собак на данные Павловым сигналы прямо становится общебиологическим принципом — превращения наследственного опыта в личный. Это оказалось возможным, потому что Павлов *максимально абстрагировал* изучаемое явление от специфических условий единичного явления, он гениально *увидел в единичном общность*.

На что же он опирался в расширении своих выводов? Конечно, на следующее: то, на что мы распространяем свой вывод, имеет дело с *теми же элементами*, и мы опираемся на заранее установленные сходства (класс наследственных рефлексов у всех животных, нервная система и т. п.). Павлов открыл *общебиологический закон*, изучив *собак*. Но он в собаке изучал то, что составляет основу животного.

Таков методологический путь всякого объяснительного принципа. В сущности, Павлов не распространил свои выводы, а степень их распространения была заранее дана — она заключалась в самой постановке опыта. То же верно относительно А. А. Ухтомского: он изучил несколько препаратов лягушек; если бы он распространил свои выводы на всех лягушек, это была бы индукция; но он говорит о доминанте как принципе психологии героев «Войны и мира» — и этим он обязан анализу. Ч. Шеррингтон изучил у многих собак и кошек почесывательный и

сгибательный рефлекс задних ног, а установил принцип борьбы за двигательное поле, лежащий в основе личности. Но и Ухтомский, и Шеррингтон ничего прибавили к изучению лягушек и кошек как таковых.

404

Конечно, это совсем особая задача — практически найти на деле *точные фактические границы* общего принципа и *степень* его приложимости к отдельным видам данного рода: может быть, условный рефлекс имеет высшую границу в поведении человеческого младенца и низшую — в беспозвоночных, а ниже и выше встречается в абсолютно иной форме. Внутри этих границ он больше приложим к собаке, чем к курице, и можно точно установить, в какой мере он приложим к каждой из них. Но это уже все именно индукция, изучение специфически единичного по отношению к принципу и на почве анализа. Это дробимо до бесконечности: мы можем изучить приложение принципа к разным породам, возрастам, полам собак; далее — к индивидуальной собаке, далее — к отдельному ее дню и часу и т. д. То же верно и о доминанте, и об общем поле.

Я попытался ввести подобный метод в сознательную психологию⁶⁰, вывести законы психологии искусства на *анализе* одной басни, одной новеллы и одной трагедии. Я исходил при этом из мысли, что развитые формы искусства дают ключ к недоразвитым, как анатомия человека — к анатомии обезьяны; что трагедия Шекспира объяснит нам загадки первобытного искусства, а не наоборот. Далее, я говорю *обо всем искусстве* и не проверяю свои выводы на музыке, живописи и т. д. Еще больше: я не проверяю их на *всех* или большинстве *видов* литературы; я беру *одну* новеллу, *одну* трагедию. По какому праву? Я изучал не басни, не трагедии и еще меньше *данную* басню и *данную* трагедию. Я изучал в них то, что составляет основу всего искусства,— природу и механизм эстетической реакции. Я опирался на общие элементы формы и материала, которые присущи всякому искусству. Я выбрал для анализа самые трудные басни, новеллы и трагедии — именно такие, на которых общие законы особенно видны: я выбрал уродов среди трагедий и т. п. Анализ предполагает абстракцию от конкретных черт басни, как таковой, как определенного жанра и сосредоточение силы на сущности эстетической реакции. Поэтому о басне как таковой я *ничего* не говорю. И самый подзаголовок «Анализ эстетической реакции» указывает на то, что задачей исследования является не систематическое изложение психологического учения об искусстве во всем его объеме и во всей широте содержания (все виды искусства, все проблемы и т. д.) и даже не индуктивное исследование определенного множества фактов, а именно *анализ процессов в его сущности*.

Объективно-аналитический метод близок, таким образом, к эксперименту; его значение шире его области наблюдения. Разумеется, и принцип искусства говорит о реакции, которая на деле *никогда не осуществлялась* в чистом виде, но всегда со своим «коэффициентом спецификации».

Найти фактические границы, степени и формы приложимости принципа — дело фактического исследования. История пусть покажет, *какие* чувства, в *какие* эпохи, посредством *каких* форм изжи-

405

вались в искусстве; мое дело было показать, *как это вообще* происходит. И это общая методологическая позиция современного искусствознания: оно изучает сущность реакции, зная, что в чистом виде она никогда не осуществляется именно так, но этот тип, норма, предел входят всегда в состав конкретной реакции и определяют ее специфический характер. Так, чисто эстетической реакции вообще никогда не бывает в искусстве: на деле она соединяется со сложнейшими и различнейшими формами идеологии (мораль, политика и т. д.); многие даже думают, что эстетические моменты не более существенны в искусстве, чем кокетство в размножении рода: это фасад, Vorlust, заманка, а смысл акта в другом (З. Фрейд и его школа); другие полагают, что исторически и психологически искусство и эстетика — две пересекающиеся окружности, имеющие и общую, и отдельную площади (Утиц). Все верно, но правдивость принципа не меняется от этого, потому что он *абстрагирован* от всего этого. Он говорит только о том, что *эстетическая реакция такова*; другое дело — найти границы и смысл самой эстетической реакции внутри искусства.

Все это делает абстракция и анализ. Сходство с экспериментом сводится к тому, что и в нем мы имеем искусственную комбинацию явлений, в которой действие определенного закона должно проявиться в наиболее чистом виде; это есть как бы ловушка для природы, анализ в действии. Такую же искусственную комбинацию явлений, только путем мысленной абстракции, мы создаем и в анализе. Особенно это ясно в применении тоже к искусственным построениям. Будучи направлены не на научные, а на практические цели, они рассчитаны на действие определенного психологического или физического закона. Таковы машина, анекдот, лирика, мнемоника, воинская команда. Здесь перед нами практический эксперимент. Анализ таких случаев — эксперимент готовых явлений. По смыслу он близок к патологии — этому эксперименту, оборудованному самой природой, — к ее собственному анализу. Разница в том только, что болезнь дает выпадение, выделение лишних черт, а здесь наличие именно нужных, подбор нужных, но результат тот же.

Каждое лирическое стихотворение есть такой эксперимент. Задача анализа — вскрыть лежащий в основе природного эксперимента закон. Но и там, где анализ имеет дело не с машиной, т. е. практическим экспериментом, а с любым явлением, он принципиально схож с экспериментом. Можно было бы показать, как бесконечно усложняют, утончают наше исследование аппараты, насколько делают нас умнее, сильнее, зорче. То же делает и анализ.

Может показаться, что анализ, как и эксперимент, искажает действительность — создает искусственные условия для наблюдения. Отсюда требование жизненности и естественности эксперимента. Если эта идея идет дальше технического требования — не вспугнуть то, что мы ищем, — она приходит к абсурду. Сила ана-

406

лиза — в абстракции, как сила эксперимента — в искусственности. Опыт Павлова — лучший образец: для собак он *естественный* эксперимент — их кормят и т. д.; для ученого он верх искусственности: слюна выделяется при почесывании определенного участка — комбинация неестественная. Так же в анализе машины необходима деструкция, мысленное или реальное повреждение механизма, для эстетической формы — деформация.

Если припомнить сказанное выше о косвенном методе, то легко заметить, что анализ и эксперимент предполагают *косвенное* изучение: из анализа стимулов мы заключаем к механизму реакции, от команды — к движениям солдат, от формы басни — к реакциям на нее.

То же, в сущности, говорит Маркс, когда сравнивает силу абстракции с микроскопом и химическими реактивами в естественных науках. Весь «Капитал» написан этим методом: Маркс анализирует «клеточку» буржуазного общества — форму товарной стоимости — и показывает, что развитое тело легче изучить, чем клеточку. В клеточке он прочитывает структуры всего строя и всех экономических формаций. Непосвященному, говорит он, анализ может показаться хитросплетением мелочей; да, это мелочи, но такие, с которыми имеет дело микроскопическая анатомия (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 23, с. 6). Кто разгадал бы клеточку психологии — механизм одной реакции, нашел бы ключ ко всей психологии.

В методологии анализ поэтому есть могущественнейшее оружие. Энгельс разъясняет «всеиндуктивистам», что «никакая индукция на свете никогда не помогла бы нам уяснить себе процесс индукции. Это мог сделать только *анализ* этого процесса» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 542). Далее он приводит ошибки индукции, которые можно встретить на каждом шагу. В другой раз он сопоставляет оба метода и находит в термодинамике пример того, насколько основательны претензии индукции быть единственной или хотя бы основной формой научных открытий. «Паровая машина явилась убедительнейшим доказательством того, что из теплоты можно получить механическое движение. 100 000 паровых машин доказывали это не более убедительно, чем одна машина...» (там же, с. 543). «Сади Карно первый серьезно взялся за это, но не путем индукции. Он изучил паровую машину, проанализировал ее, нашел, что в ней основной процесс не выступает *в чистом виде*, а заслонен всякого рода побочными процессами, устранил эти безразличные для главного процесса побочные обстоятельства и сконструировал идеальную паровую машину... которую, правда, так же нельзя осуществить, как нельзя, например, осуществить геометрическую линию

или геометрическую плоскость, но которая оказывает, по-своему такие же услуги, как эти математические абстракции: она представляет рассматриваемый процесс в чистом, независимом, неискаженном виде» (там же, с. 543—544).

407

Можно было бы в методике исследования этой прикладной ветви методологии показать, как и где применим такой анализ; но и в общей форме мы можем сказать, что анализ есть применение методологии к познанию факта, т. е. оценка применяемого метода и смысла полученных явлений. В этом смысле можно сказать, что анализ *всегда* присущ исследованию, иначе индукция превратилась бы в регистрацию.

Чем же отличается этот анализ от анализа Челпанова? Четырьмя чертами: 1) аналитический метод направлен на познание реальностей и стремится к той же цели, что и индукция. Феноменологический метод вовсе не предполагает бытия той сущности, на которую он направлен; его предметом может быть чистая фантазия, которая вовсе не содержит бытия; 2) аналитический метод изучает факты и приводит к знанию, имеющему достоверность факта. Феноменологический метод добывает истины аподиктические, абсолютно достоверные и общеобязательные; 3) аналитический метод есть особый случай опытного познания, т. е. фактического познания, по Юму. Феноменологический метод априорен, он не есть вид опыта или фактического познания; 4) аналитический метод, опираясь на изученные и обобщенные прежде факты, через изучение новых единичных фактов приводит в конце концов к новым относительным фактическим обобщениям, имеющим границы, степени приложимости, ограничения и даже исключения. Феноменологический метод приводит к познанию не общего, но идеи — сущности. Общее познается из индукции, сущность — из интуиции. Она вневременна и внереальна и не относится ни к каким временным и реальным вещам.

Мы видим, что разница так велика, как вообще только может быть велика между двумя методами. Один метод — будем его называть аналитическим — есть метод реальных, естественных наук; другой — феноменологический, априорный — есть метод наук математических и чистой науки о духе.

Почему же Челпанов называет его аналитическим, утверждая его тождественность с феноменологическим? Во-первых, в этом заключена прямая методологическая *ошибка*, распутывать которую сам автор пытается несколько раз. Так, он указывает, что аналитический метод не тождествен с обычным анализом в психологии. Он дает знание другой природы, чем индукция,— вспомним четкие отличия; все установлены Челпановым. Итак, есть *два вида анализа*, ничего общего, кроме термина, не имеющих между собой. Общий термин вносит путаницу, и надо различать в нем два смысла.

Далее, ясно, что анализ в случае с газом, который приводит автор в качестве возможного возражения против теории единичного усмотрения как основного признака «аналитического» метода, есть анализ естественнонаучный, а не феноменологический. Автор просто *ошибается*, когда видит здесь комбинацию анализа и индукции: это анализ, да не тот. Ни один из четырех пунктов различия обоих ме-

408

тодов не оставляет в этом сомнения: 1) он направлен на реальные факты, а не на «идеальные возможности»; 2) он обладает только фактической, а не аподиктической достоверностью; 3) он апостериорен; 4) он приводит к обобщениям, имеющим границы и степени, а не к созерцанию сущности. Вообще он возникает из опыта, из индукций, а не из интуиции.

Что здесь ошибка и смешение терминов, абсолютно ясно из *нелепости* соединения в одном эксперименте феноменологического и индуктивного методов. Это допускает Челпанов в случае с газами: это все равно, как если бы мы отчасти доказали теорему Пифагора, а отчасти дополнили ее изучением действительных треугольников. Это абсурд. Но за ошибкой стоит некоторое измерение: психоаналитики научили нас быть чуткими и подозрительными к ошибкам. Челпанов принадлежит к соглашателям: он видит двойственность психологии, но не разделяет вслед за Гуссерлем полного отрыва психологии от феноменологии; для него психология есть

отчасти феноменология; внутри психологии есть феноменологические истины — и они служат основным стержнем науки; но вместе с тем Челпанову жаль и экспериментальной психологии, которую с презрением третирует Гуссерль; Челпанов хочет *соединить несоединимое*, и в истории с газами у него фигурирует единственный раз аналитический (феноменологический) метод в соединении с индукцией в физике при изучении реальных газов. И это смешение у него прикрито общим термином «аналитический».

Рассечение двуединого аналитического метода на феноменологический и индуктивно-аналитический приводит нас к крайним точкам, в которые упирается расхождение двух психологии, — к их гносеологическим исходным точкам. Этому различению я придаю огромное значение, вижу в нем венец и центр всего анализа, и вместе с тем для меня теперь это так ясно, как простая гамма. Феноменология (описательная психология) исходит из коренного различия между физической природой и психическим бытием. В природе мы различаем явления в бытии. «В психической сфере нет никакого различия между явлением и бытием» (Э. Гуссерль, 1911, с. 25). Если природа есть бытие, которое проявляется в явлениях, то этого совершенно нельзя утверждать относительно психического бытия. Здесь *явление и бытие совпадают друг с другом*. Трудно дать более четкую формулу психологического идеализма. А вот гносеологическая формула психологического материализма: «Разница между *мышлением и бытием* в психологии не уничтожена. Даже относительно мышления ты можешь различать между мышлением мышления и мышлением самим по себе» (Л. Фейербах, 1955, с. 216). *В этих двух формулах сущность всего спора*.

Нужно уметь гносеологическую проблему поставить и для психики и так же найти в ней различие между бытием и мышлением, как материализм учит нас сделать это в теории познания внешнего

409

мира. В признании коренного различия психики от физической природы таится отождествление *явления и бытия*, духа и материи внутри психологии, решение антиномии путем устранения в психологическом познании одного члена — материи, т. е. чистой воды идеализма Гуссерля. В различении явления и бытия внутри психологии и в признании бытия истинным объектом изучения выражен весь материализм Фейербаха.

Я берусь перед целым синклитом философов — как идеалистов, так и материалистов — доказать, что именно в этом заключена суть расхождения идеализма и материализма в психологии и что только формулы Гуссерля и Фейербаха дают последовательное решение проблемы в двух возможных смыслах; что первая есть формула феноменологии, а вторая — материалистической психологии. Я берусь, исходя из этого сопоставления, резать по живому месту психологии, точно рассекая ее на два чужеродных и ошибочно сращенных тела; это единственное, что отвечает объективному положению вещей, и все споры, все разногласия, вся путаница происходят только из-за отсутствия ясной и верной постановки гносеологической проблемы.

Отсюда следует, что, принимая у эмпирической психологии только *формальное* признание психики, Франкфурт принимает и всю ее гносеологию и все ее выводы — он вынужден прийти к феноменологии; что, требуя для изучения психики метода, соответствующего ее качественности, он требует, хотя сам того и не знает, феноменологического метода. Его концепция есть тот материализм, о котором совершенно справедливо говорит Геффдинг, что он есть «дуалистический спиритуализм в миниатюре» (1908, с. 64). Именно в *миниатюре*, т. е. с попыткой уменьшить, количественно умалить действительность нематериальной психики, оставить за ней 0,001 влияния. Но ведь принципиальное решение *несколько* не зависит от количественной постановки вопроса. Одно из двух: или бог есть, или его нет; или духи мертвых являются, или нет; или душевные явления (для Дж. Уотсона — спиритические) нематериальны, или материальны. Ответы в роде того, что бог есть, но очень маленький; или духи мертвых не приходят, но маленькие частички их очень редко залетают к спиритам; или психика материальна, но отлична от всей прочей материи, анекдотичны. В. И. Ленин писал богостроителям, что он их мало

отличает от богоискателей: важно вообще принять или изгнать чертовщину, а принимать синего или желтого черта — не велика разница.

Смешение гносеологической и онтологической проблем путем прямого перенесения в психологию не всего рассуждения, а готовых его выводов приводит к искажению и *той и другой*. У нас отождествляют субъективное с психическим, а после доказывают, что психическое не может быть объективным; путают гносеологическое сознание как член антиномии — субъект — объект — с эмпирическим,

410

психологическим сознанием, а после говорят, что сознание не может быть материальным, что признание этого есть махизм. И в результате приходят к неоплатонизму, в духе непогрешимых сущностей, у которых бытие совпадает с явлением. Бегут от идеализма, чтобы окунуться в него головой. Боятся отождествления бытия и сознания пуще огня — и приходят к полнейшему гуссерлевскому отождествлению их в психологии. Отношение между субъектом и объектом, прекрасно разъясняет Геффдинг, не следует смешивать с отношением между духом и телом. Различие между духом и материей есть различие в содержании нашего познания; но различие между субъектом и объектом обнаруживается независимо от содержания нашего познания. Как дух, так и тело для нас объективны, но если духовные объекты по своему существу сродни с познающим субъектом, то тело для нас *только* объект.

Отношение между субъектом и объектом является «проблемой познания, отношение между духом и материей — проблемой бытия» (Г. Геффдинг, 1908, с. 214).

Точное разделение и обоснование обеих проблем в материалистической психологии должно быть сделано не здесь, но указать на возможность двух решений, на грань между идеализмом и материализмом, на существование материалистической формулы необходимо здесь, ибо раздел, раздел до самого конца — задача психологии сегодня. Ведь многие «марксисты» не сумеют указать разницы между своей и идеалистической теорией психологического познания, потому что *ее нет*. Мы уподобляли вслед за Спинозой нашу науку смертельно больному в поисках за безнадежным лекарством; теперь мы видим, что только нож хирурга может спасти положение. Предстоит кровавая операция; многие учебники придется разорвать надвое, как завесу в храме, многие фразы потеряют голову или ноги, иные теории будут разрезаны как раз по животу. Нас занимает только грань, линия разрыва — черта, которую опишет будущий нож.

И вот мы утверждаем, что эта линия проходит между формулой Гуссерля и Фейербаха. Дело в том, что в марксизме вообще не ставилась проблема гносеологии применительно к психологии и не возникала задача разделения *двух* проблем, о которых говорит Геффдинг; зато идеалисты довели эту идею до отточенной ясности. И мы утверждаем, что точка зрения наших «марксистов» есть *махизм в психологии*: отождествление бытия и сознания. *Одно из двух*: или в интроспекции нам непосредственно дана психика — и тогда мы с Гуссерлем; или в ней надо различать субъект и объект, бытие и мышление — и тогда мы с Фейербахом. Но что это значит? Значит, моя радость и мое интроспективное постижение этой радости — разные вещи.

У нас очень в ходу цитата из Фейербаха: то, что для меня есть духовный, нематериальный, сверхчувственный акт, то само по себе

411

есть акт материальный, чувственный (Л. Фейербах, 1955, с. 214). Приводят это обычно в подтверждение субъективной психологии. Но ведь это говорит *против нее*. Спрашивается: что же мы должны изучать — этот акт сам по себе таким, как он есть, или таким, каким он является мне? Материалист, как при аналогичном вопросе об объективности мира, не задумываясь, говорит: *сам по себе*, объективный акт. Идеалист скажет: мое восприятие. Но тогда один и тот же акт у меня, пьяного и трезвого, маленького и взрослого, сегодня и вчера, у меня и у вас окажется разным в интроспекции. Больше того, в интроспекции, оказывается, нельзя непосредственно воспринимать мышление, сравнение — это акты бессознательные; а наше интроспективное постижение их не есть уже функциональное понятие, т. е. выведенное из объективного опыта. Что надо, что можно изучать: мышление само по себе или мышление мышления? Никакого сомнения в ответе на этот вопрос не может быть. Но есть одно затруднение,

которое мешает прийти к ясному ответу. На это затруднение наткнулись в свое время *все* философы, пытавшиеся провести разделение психологии. К. Штумпф, отделивший психические функции от явлений, спрашивал: кто же, какая наука будет изучать явления, отвергнутые физикой и психологией? Он допускал возникновение *особой науки* — не психологии, не физики. Другой психолог (А. Пфендер) отказывался признать ощущения предметом психологии только на том основании, что физика отказывается признать их своими. Где же им быть? *Феноменология Гуссерля есть ответ на этот вопрос.*

У нас тоже спрашивают: если вы будете изучать мышление само по себе, а не мышление мышления; акт сам по себе, а не акт для меня; объективное, а не субъективное, то кто же будет изучать само субъективное, субъективное искажение объектов? В физике мы стараемся элиминировать субъективное из того, что воспринимаем как объект; в психологии, изучая восприятие, опять требуют отделить восприятие само по себе, как оно есть, от того, каким оно мне кажется. Кто же будет изучать это элиминирующее оба раза, эту *кажимость*?

Но проблема кажимости есть кажущаяся проблема. Ведь в науке мы хотим узнать *истинную*, а не *кажущуюся* причину кажимости: значит, нам нужно брать явления такими, какими они существуют независимо от меня. Сама же *кажимость* — иллюзия (в основном примере Титченера: мюллер-лайеровские линии физически равны, психологически — одна длиннее). Вот различие точки зрения физики, и психологии, не *существующее реально*, а возникающее из двух несовпадений двух реально существующих процессов. Если я буду знать физическую природу двух линий и объективные законы глаза, как они есть, сами по себе, я получу в качестве вывода из них объяснение кажимости, иллюзии. Изучение же субъективного в познании ее есть дело логики и исторической теории познания: как бытие, субъективное есть результат двух объективных самих по себе про-

412

цессов. Дух не всегда субъект; в интроспекции он расщепляется на объект и на субъект. Спрашивается: в интроспекции явление и бытие совпадают? Стоит только *применить* гносеологическую формулу материализма, данную В. И. Лениным (сходная у Г. В. Плеханова), к *психологическому субъекту* — объекту, чтобы увидеть, в чем дело: «...единственное «свойство» материи, с признанием которого связан философский материализм, есть свойство *быть объективной реальностью*, существовать вне нашего сознания» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч., т. 18, с. 275). «...Понятие материи... не означает гносеологически *ничего иного*, кроме как: объективная реальность, существующая независимо от человеческого сознания и отображаемая им» (там же, с. 276). В другом месте В. И. Ленин говорит, что это, в сущности, принцип *реализма*, но он избегает этого слова, потому что оно захватано непоследовательными мыслителями.

Итак, *как будто* эта формула говорит против нашей точки зрения: сознание не может не существовать вне нашего сознания. Но, как верно определил Плеханов, самосознание есть сознание сознания. И сознание *может* существовать без самосознания: в этом убеждает нас бессознательное, относительно бессознательное. Я могу видеть, не зная, что вижу. Поэтому прав Павлов, когда говорит, что можно жить субъективными явлениями, но нельзя их изучать.

Ни одна наука невозможна иначе, чем при разделении непосредственного переживания от знания: удивительное дело — только психолог-интроспективист думает, что переживание и знание совпадают. Если бы сущность и форма проявления вещей непосредственно совпадали, говорит Маркс, была бы излишня всякая наука (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 25, ч. II, с. 384). Если в психологии явление и бытие — одно и то же, то *каждый есть ученый-психолог* и наука невозможна, возможна только регистрация. Но, очевидно, *одно дело жить, переживать и другое* — изучать, как говорит Павлов.

Любопытнейший пример этому мы находим у Э. Титченера. Этот последовательный интроспективист и параллелист приходит к выводу, что душевные явления можно только описывать, но не объяснять. «Но если бы мы попытались ограничиться чисто описательной психологией,— утверждает он,— мы убедились бы, что в таком случае нет никакой надежды на действительную науку о душе. Описательная психология относилась бы к научной психоло-

гии точно так же... как относится мировоззрение, которое создает себе мальчик в своей детской лаборатории, к мировоззрению опытного естествоиспытателя... В ней не было бы никакого единства и никакой связи... Чтобы сделать психологию научной, мы должны не только описывать душу, но и объяснять ее. Мы должны отвечать на вопрос «почему?». Но здесь мы встречаемся с затруднением. Мы не можем один душевный процесс рассматривать как причину другого душевного процесса. С другой стороны, и нервные процессы

413

мы не можем рассматривать как причину душевных процессов... Одна сторона не может быть причиной другой» (1914, с. 32—33).

Вот истинное положение, в которое попадает описательная психология. Выход находит автор в чисто *словесной увертке*: объяснить можно душевные явления только по отношению к телу. Нервная система, говорит Титченер, не обуславливает, а объясняет душу. Она объясняет ее, как карта страны объясняет отрывочные виды гор, рек и городов, которые мы мельком видим, проезжая мимо них. Отношение к телу не прибавляет ни йоты к фактам психологии, оно дает нам в руки только принцип объяснения психологии.

Если отказаться от этого, то есть только два пути преодоления отрывочной психической жизни: или чисто описательный путь, отказ от объяснения; или допустить существование бессознательного. Оба пути испробованы. Но на первом мы никогда не придем к научной психологии, а на втором добровольно перейдем из области фактов в область фикций. Это альтернативы науки. Это прекрасно до ясности. Но возможна ли наука с тем объяснительным принципом, который избрал автор? Возможна ли наука об *отрывочных видах гор, рек и городов*, которым в примере Титченера уподоблена психика? И далее: как, почему карта объясняет эти виды, при помощи карты страны объясняет свои части? Карта есть копия страны, она объясняет, поскольку в ней отражена страна, т. е. однородное объясняет однородное. Наука невозможна на таком принципе. На деле автор сводит все к *причинному объяснению*, так как для него и причинное, и параллелистическое объяснение определяются как указание ближайших обстоятельств или условий, при которых происходит описанное явление. Но ведь и этот путь не приводит к науке: хороши «ближайшие условия» в геологии — ледниковый период, физике — расщепление атома, астрономии — образование планет, биологии — эволюция. Ведь за «ближайшими условиями» в физике идут другие «ближайшие условия» и причинный ряд *принципиально бесконечен*, а при параллелистическом указании дело безнадежно ограничивается только *ближайшими* причинами. Недаром автор ограничивается сравнением своего объяснения с объяснением появления росы в физике. Хороша была бы физика, если бы она не шла дальше указания ближайших условий и подобных объяснений: она просто перестала бы существовать как наука.

Итак, мы видим: для психологии как знания есть два пути: или путь науки, тогда она должна уметь объяснять; или знание об отрывочных видениях, тогда она невозможна как наука. Ведь оперирование геометрической аналогией вводит нас в заблуждение. Геометрическая психология абсолютно невозможна, ибо она лишена основного признака: идеальной абстракции, она все же относится к реальным объектам. При этом раньше всего вспоминаешь попытку Спинозы исследовать человеческие пороки и глупости геометриче-

414

ским путем и рассматривать человеческие действия и влечения точно так же, как если бы вопрос шел о линиях, поверхностях и телах. Кроме описательной психологии, ни для какой другой этот путь не годится: ибо от геометрии в нем только словесный стиль и видимость неопровержимости доказательств, а все остальное — и в том числе суть — от ненаучного способа мыслить.

Э. Гуссерль прямо формулирует разницу между феноменологией и математикой: математика есть наука точная, а феноменология — описательная. Ни много ни мало: для аподиктичности феноменологии не хватает такого пустяка, как точность! Но представьте себе неточную математику — и вы получите геометрическую психологию.

В конце концов вопрос сводится, как уже сказано, к разграничению онто- и гносеологической проблемы. В гносеологии *кажимость* есть, и утверждать о ней, что она есть

бытие,— ложь. В онтологии *кажмости* нет вовсе. Или психические феномены существуют — тогда они материальны и объективны, или их нет — тогда их *нет* и изучать их нельзя. *Невозможна* никакая наука только о субъективном, о *кажмости*, о призраках, о том, чего нет. Чего нет — *того нет вовсе*, а не полунет, полустает. Это надо понять. Нельзя сказать: в мире существуют реальные и *нереальные* вещи — нереальное не существует. Нереальное должно быть объяснено как несовпадение, вообще отношение двух реальных вещей; субъективное — как следствие двух объективных процессов. Субъективное есть кажущееся, а потому — его *нет*.

Л. Фейербах к различению субъективного и объективного в психологии делает примечание: «Подобным же образом для женья мое тело принадлежит к разряду невесомых, не имеет тяжести, хотя само по себе или для других оно — тяжелое тело» (1955, с. 214).

Отсюда ясно, какую реальность приписывал он субъективному. Он говорит прямо: «В психологии к нам влетают в рот жареные голуби; в наше сознание и чувство попадают только заключения, только результаты, а не посылки, а не процессы организма» (там же, с. 213). Но разве возможна наука о результатах без посылок?

Хорошо выразил это Штерн, говоря вслед за Г. Т. Фехнером, что психическое и физическое — это выпуклое и вогнутое: одна линия представляется то такой, то такой. Но ведь сама по себе она не выпуклая и не вогнутая, а округлая, и именно такой мы хотим ее знать независимо от того, какой она может показаться.

Г. Геффдинг то же сравнивает с одним и тем же содержанием, выраженным на двух языках, которые не удастся свести к общему праязыку. Но мы хотим знать *содержание*, а не *язык*, на котором оно выражено. В физике освобождаемся же мы от языка, чтобы изучить содержание. То же должны сделать мы в психологии.

Сравним сознание, как это часто делают, с зеркальным отражением. Пусть предмет *A* отражен в зеркале, как *A_a*. Конечно, было бы

415

ложно сказать, что *a* так же реально, как *A*, но оно *иначе реально*, само по себе. Стол и его отражение в зеркале не одинаково реальны, а по-разному. Отражение как отражение, как образ стола, как второй стол в зеркале нереально, это призрак. Но отражение стола как преломление световых лучей в плоскости зеркала — разве не столь же материальный и реальный предмет, как стол? Было бы чудом все иное. Тогда мы сказали бы: существуют вещи (стол) и их призраки (отражение). Но существуют *только* вещи — (стол) и отражение света от плоскости, а призраки суть *кажущиеся* отношения между вещами. Поэтому никакая наука о зеркальных призраках невозможна. Но это не значит, что мы не сумеем никогда объяснить отражение, призрак: если мы будем знать *вещь* и *законы отражения света*, мы всегда объясним, предскажем, по своей воле вызовем, изменим призрак. Это и делают люди, владеющие зеркалами: они изучают не зеркальные отражения, а движение световых лучей и объясняют отражение. Невозможна наука о зеркальных призраках, но учение о свете и об отбрасываемых и отражающих его вещах вполне объясняет «призраки».

То же и в психологии: субъективное само по себе как призрак должно быть понято как следствие, как результат, как жареный голубь — *двух* объективных процессов. Загадка психики решится, как загадка зеркала, не путем изучения призраков, а путем изучения двух рядов объективных процессов, из взаимодействия которых возникают призраки как кажущиеся отражения *одного в другом*. Само по себе кажущееся не существует.

Вернемся опять к зеркалу. отождествить *A* и *a*, стол и его зеркальное отражение, было бы идеализмом: *a* вообще нематериально, материально только *A*, и его материальность есть синоним его независимого от *a* существования. Но было бы таким же точно идеализмом отождествить *a* с *X* — с процессами, происходящими сами по себе в зеркале. Было бы ложно сказать: бытие и мышление не совпадают *вне* зеркала, в природе, там *A* не есть *a*, *A* есть вещь, *a* — призрак; но бытие и мышление совпадают в зеркале, здесь *a* есть *X*, *a* есть призрак и *X* тоже призрак. Нельзя сказать: *отражение* стола есть стол, но нельзя сказать также: *отражение* стола есть преломление световых лучей; *a* не есть ни *A*, ни *X*. И *A* и *X* суть реальные процессы, а *a* есть возникающий из них, кажущийся, т. е. нереальный, *результат*. Отражение не существует, но

и стол и свет одинаково существуют. Отражение же стола не совпадает с реальными процессами света в зеркале, как и с самим столом.

Не говоря о том, что иначе мы должны были бы допустить существование в мире и вещей, и призраков, вспомним, что ведь само зеркало есть *часть той же природы, что и вещь вне зеркала*, и подчинено всем ее законам. Ведь краеугольным камнем материализма является положение о том, что сознание и мозг есть продукт, часть

416

природы, отражающая остальную природу. И значит, объективное существование X и A независимо от a есть догма материалистической психологии.

На этом мы можем кончить наше затянувшееся рассуждение. Мы видим, что третий путь гештальтпсихологии и персонализма был, в сущности, оба раза одним из двух известных нам путей. Ныне мы видим, что третий путь, путь так называемой «марксистской психологии», есть попытка соединить оба пути. Эта попытка приводит к их новому разъединению внутри одной и той же научной системы: кто соединит их, тот, как Мюнстерберг, пойдет по двум разным дорогам.

Как в легенде два дерева, соединенных вершинами, разодрали надвое тело древнего князя, так всякая научная система будет разодрана надвое, если она привяжет себя к двум разным стволам. Марксистская психология может быть только естественной наукой, путь Франкфурта ведет его к феноменологии. Правда, он сам в одном месте сознательно возражает против того, что психология может быть естественной наукой (1926). Но, во-первых, он смешивает естественные науки с биологическими, что не верно; психология может быть естественной, но не биологической наукой, а во-вторых, он берет понятие «естественный» в его ближайшем, фактическом значении, как указание на науки об органической и неорганической, природе, а не в его принципиально методологическом значении.

В русской литературе В. Н. Ивановский ввел такое употребление этого термина, давно принятое в западной науке. Он говорит, что от математики и реально-математических наук надо строго отличать науки, имеющие дело с вещами, «реальными» предметами и процессами, с тем, что «действительно» существует, *есть*. Эти науки можно поэтому назвать *реальными* или *естественными* (в широком смысле этого слова). У нас обычно термин «науки естественные» употребляется в более узком смысле, обозначая лишь дисциплины, изучающие природу неорганическую и органическую, но не охватывающие природы социальной и сознательной, каковая при таком словоупотреблении оказывается часто отличной от «естества»; чем-то не то «неестественным», не то «сверхъестественным», если не «противоестественным» (В. Н. Ивановский, 1923). Я убежден, что распространение термина «естественный» на все, что реально существует, вполне рационально.

Возможность психологии как науки есть методологическая проблема прежде всего. Ни в одной науке нет стольких трудностей, неразрешимых контроверз, соединения различного в одном, как в психологии. Предмет психологии — самый трудный из всего, что есть в мире, наименее поддающийся изучению; способ ее познания должен быть полон особых ухищрений и предосторожностей, чтобы дать то, чего от него ждут.

417

Я же говорю все время именно об этом последнем — о принципе науки о реальном. В этом смысле Маркс, по его словам, изучает процесс развития экономических формаций как *естественноисторический процесс*.

Ни одна наука не представляет такого разнообразия и полноты методологических проблем, таких туго затянутых узлов, неразрешимых противоречий, как наша. Поэтому здесь нельзя сделать ни одного шага, не предприняв тысячу предварительных расчетов и предостережений.

Итак, все равно осознают, что кризис тяготеет к созданию методологии, что борьба идет за общую психологию. Кто пытается перескочить через эту проблему, перепрыгнуть через методологию, чтобы сразу строить ту или иную частную психологическую науку, тот неизбежно, желая сесть на коня, перепрыгивает через него. Так случилось с гештальттеорией, со Штерном. Нельзя сейчас, исходя из принципов универсальных, равно приложимых к физике и к психологии, не конкретизировав их в методологии, прямо подойти к частному психологическому

исследованию: вот почему этих психологов упрекают в том, что они знают одно сказуемое, равно применимое ко всему миру. Нельзя, как то делает Штерн, с понятием, равно охватывающим Солнечную систему, дерево и человека, изучить психологические различия людей между собой: для этого нужен другой масштаб, другая мера. Вся проблема общей и частной науки, с одной стороны, и методологии и философии, с другой, есть проблема масштаба: нельзя в верстах измерить человеческий рост, для этого нужны сантиметры. И если мы видели, что частные науки имеют тенденцию к выходу за свои пределы, к борьбе за общую меру, за более крупный масштаб, то философия переживает обратную тенденцию: чтобы приблизиться к науке, она должна сузить, уменьшить масштаб, конкретизировать свои положения.

Обе тенденции — философии и частной науки — одинаково ведут к методологии, к общей науке. Вот эта идея масштаба, идея общей науки чужда до сих пор «марксистской психологии», и в этом ее слабое место. Она пытается непосредственную меру психологических элементов — реакций — найти в универсальных принципах: закон перехода количества в качество и «забывание оттенков серого цвета» по А. Леману и переход бережливости в скупость; триада Гегеля и психоанализ Фрейда. Здесь ясно сказывается отсутствие меры, масштаба, посредующего звена между одним и другим. Поэтому с роковой неизбежностью диалектический метод попадает в *один ряд* с экспериментом, сравнительным методом и методом тестов и анкет. Чувства иерархии, различия между техническим приемом исследования и методом познания «природы истории и мышления» нет. Вот это — непосредственное столкновение лбами частных фактических истин с универсальными принципами; попытка рассудить деловой спор Вагнера и Павлова об инстинкте ссыл-

418

кой на количество — качество; шаг от диалектики к анкете; критика иррадиации с гносеологической точки зрения; оперирование верстами там, где нужны сантиметры; приговоры о Бехтерева и Павлове с высоты Гегеля; эти пушки по воробьям привели к ложной идее третьего пути. Диалектический метод вовсе не един — в биологии, истории, психологии. Нужна методология, т. е. система посредствующих, конкретных, примененных к масштабу данной науки понятий.

Л. Бинсвангер (1922) вспоминает слова Brentano об удивительном искусстве логики, которой *один* шаг вперед имеет следствием 1000 шагов вперед в науке. Вот этой силы логики не хотят у нас знать. По хорошему выражению, методология есть рычаг, посредством которого философия управляет наукой. Попытка осуществить такое управление без методологии, прямое применение силы к точке ее приложения без рычага — от Гегеля к Э. Мейману — приводят к тому, что наука становится невозможной.

Я выставляю тезис: анализ кризиса и структуры психологии непреложно свидетельствует о том, что никакая философская система не может овладеть психологией как наукой непосредственно без помощи методологии, т. е. без создания общей науки; что единственным правомерным приложением марксизма к психологии было бы создание общей психологии — ее понятия формулируются в непосредственной зависимости от общей диалектики, ибо она есть диалектика психологии; всякое приложение марксизма к психологии иными путями и в иных точках, вне этой области, неизбежно приведет к схоластическим, вербальным конструкциям, к растворению диалектики в анкетах и тестах, к суждению о вещах по их внешним, случайным, второстепенным признакам, к полной утрате всякого объективного критерия и к попытке отрицать все исторические тенденции развития психологии, к терминологической революции, — короче, к грубому искажению и марксизма, и психологии. Это есть путь Челпанова.

Не навязывать природе диалектические принципы, а находить их в ней — формула Энгельса (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч., т. 20, с. 387) здесь сменяется обратной: в психологию вводятся принципы диалектики извне. Путь марксистов должен быть иным. *Непосредственное*

приложение теории *диалектического материализма* к вопросам естествознания, и в частности к группе наук биологических или к психологии, *невозможно*, как *невозможно непосредственно* приложить ее к истории и социологии. У нас думают, что проблема «психология и марксизм» сводится только к тому, чтобы создать отвечающую марксизму психологию, но на деле она гораздо сложнее. Так же как история, социология нуждается в посредующей *особой теории* исторического материализма, выясняющей *конкретное* значение для данной группы явлений *абстрактных* законов диалектического материализма. Так точно нужна еще не созданная,

419

но неизбежная теория биологического материализма, психологического материализма как посредующая наука, выясняющая конкретное применение абстрактных положений диалектического материализма к данной области явлений.

Диалектика охватывает природу, мышление, историю — она есть самая общая, предельно универсальная наука; теория психологического материализма или диалектика психологии и есть то, что я называю общей психологией.

Для создания таких опосредующих теорий — методологий, общих наук — надо вскрыть *сущность* данной области явлений, законов их изменения, качественную и количественную характеристику, их причинность, создать свойственные им категории и понятия, одним словом, создать *свой* «Капитал». Стоит только представить себе, что Маркс оперировал бы общими принципами и категориями диалектики, вроде количества — качества, триады, всеобщей связи, узла, скачка и т. п.— без абстрактных и исторических категорий стоимости, класса, товара, капитала, ренты, производительной силы, базиса, надстройки и т. п., чтобы увидеть всю чудовищную нелепость предположения, будто можно непосредственно, минуя «Капитал», создать любую марксистскую науку. Психологии нужен свой «Капитал» — свои понятия класса, базиса, ценности и т. д., — в которых она могла бы выразить, описать и изучить свой объект, а открывать в статистике *забывания оттенков серого цвета у Лемана* подтверждение закона скачков — значит ни на йоту не изменить ни диалектики, ни психологии. Эта идея о необходимости посредующей теории, без которой невозможно рассматривать в свете марксизма отдельные частные факты, давно осознана, и мне только остается указать на совпадение выводов нашего анализа психологии с этой идеей.

Ту же идею вскрывает В. А. Вишневский в споре со И. И. Степановым (для всех ясно, что исторический материализм не диалектический материализм, а его применение к истории. Поэтому, строго говоря, только общественные науки, имеющие свою общую науку в истории материализма, могут называться марксистскими; других марксистских наук еще нет). «Как исторический материализм не тождествен диалектическому материализму, так равно последний не тождествен специфически естественнонаучной теории, каковая еще, к слову сказать, только рождается» (В. А. Вишневский, 1925, с. 262). Степанов же, отождествляя диалектико-материалистическое понимание природы с механическим, считает, что она дана и содержится уже в механистической концепции естественных наук. В качестве примера автор ссылается на спор в психологии по вопросу об интроспекции (1924).

Диалектический материализм есть наука самая абстрактная. Непосредственное приложение диалектического материализма к биологическим наукам и психологии, как это сейчас делается, не

420

идет дальше формально-логических, схоластических, словесных подведений под общие, абстрактные, *универсальные* категории частных явлений, внутренний смысл и соотношение которых неизвестны. В *лучшем* случае это может повести к накоплению *примеров*, иллюстраций. Но не больше. Вода — пар — лед и натуральное хозяйство — феодализм — капитализм с точки зрения *диалектического материализма* — одно и то же, один и тот же процесс. Но для *исторического материализма* какое *качественное* богатство пропадает при таком обобщении!

К. Маркс назвал «Капитал» критикой политической экономии. Вот такую критику психологии хотят перепрыгнуть ныне. «Учебник психологии, изложенный с точки зрения

диалектического материализма», в сущности, должно звучать, так же, как «учебник минералогии, изложенный с точки зрения формальной логики». Ведь это само собой разумеющаяся вещь — рассуждать логически не есть особенность данного учебника или всей минералогии. Ведь диалектика не есть логика, даже шире. Или: «учебник социологии с точки зрения диалектического материализма» вместо «исторического». Надо создать теорию психологического материализма, и нельзя еще создавать учебники диалектической психологии.

Но и в критическом суждении мы лишаемся при этом главного критерия. То, как сейчас определяют, словно в пробирной палате, согласуется ли данное учение с марксизмом, сводится к методу «логического наложения», т. е. совпадения форм, логических признаков (монизм и пр.). Надо знать, чего можно и должно искать в марксизме. Не человек для субботы, а суббота для человека; надо найти теорию, которая помогла бы познать психику, но отнюдь не решения вопроса психики, не формулы, заключающей и суммирующей итог научной истины. Этого в цитатах Плеханова нельзя найти по одному тому, что ее там нет. Такой истиной не обладали ни Маркс, ни Энгельс, ни Плеханов⁶¹. Отсюда фрагментарность, краткость многих формулировок, их черновой характер, их строго ограниченное контекстом значение. Такая формула вообще не может быть дана наперед, до научного изучения психики, а явится в результате научной вековой работы. Предварительно *можно искать у учителей* марксизма не решение вопроса, даже не рабочую гипотезу (потому что они создаются на почве данной науки), а метод ее [гипотезы.— Ред.] построения. Я не хочу узнать на даровщинку, скроив пару цитат, что такое психика, я хочу научиться на *всём* методе Маркса, как строят науку, как подойти к исследованию психики.

Поэтому марксизм не только применяют не там, где надо (в учебниках вместо общей психологии), но и берут из него не то, что надо: не случайные высказывания нужны, а метод: не диалектический материализм, а исторический материализм. «Капитал» должен нас научить многому — и потому, что настоящая социальная

421

психология начинается *за* «Капиталом», и потому, что психология сейчас есть психология — *до* «Капитала». В. Я. Струминский совершенно прав, когда самую идею о марксистской психологии как синтезе тезиса — эмпиризма с антитезисом — рефлексологией называет схоластическим построением. Когда найден реальный путь, можно для ясности наметить в нем эти три точки, но искать при помощи этой схемы реальных путей — значит становиться на путь спекулятивной комбинации и заниматься диалектикой идей, а не диалектикой фактов — бытия. У психологии нет самостоятельных путей развития, надо за ними искать обуславливающие их реальные исторические процессы. Не прав он только, когда утверждает, что наметить пути психологии из современных течений — *вообще* нельзя — по-марксистски (В. Я. Струминский, 1926).

Что он развивает — верно, но это касается только исторического анализа развития науки, а не методологического. Методолога не интересует, что в процессе развития психологии *реально* произойдет завтра, поэтому он и не обращается к факторам, стоящим вне психологии. Но его интересует: чем больна психология, чего ей недостает, чтобы стать наукой, и т. д. Ведь и внешние факторы толкают психологию по пути *ее* развития и не могут ни отменить в ней вековую работу, ни перескочить на век вперед. Есть известный органический рост логической структуры знания.

Прав Струминский и тогда, когда указывает, что новая психология пришла фактически к откровенному признанию позиций старой субъективной психологии. Но беда здесь не в отсутствии учета внешних, реальных факторов развития науки, которые пытается учесть автор. Беда в неучете методологической природы кризиса. Есть *своя* строгая последовательность в ходе развития каждой науки; внешние факторы могут ускорить или замедлить этот ход, они могут отклонить его в сторону, наконец, они могут определить качественный характер каждого этапа, но изменить последовательность этапов нельзя. Можно объяснить внешними факторами идеалистический или материалистический, религиозный или позитивный, индивидуалистический или социальный, пессимистический или оптимистический характер этапа, но никакие внешние факторы не могут сделать того, чтобы наука, находящаяся в

стадии собирания сырого материала, сразу перешла к выделению из себя технических, прикладных дисциплин или наука с развитыми теориями и гипотезами, с развитой техникой и экспериментом занялась собиранием и описанием первичного материала.

Кризис поставил на очередь разделение двух психологии через создание методологии. Каково оно будет — зависит от внешних факторов. Титченер и Уотсон по-американски и социально по-разному, Коффка и Штерн по-немецки и опять социально по-разному, Бехтерев и Корнилов по-русски и опять по-разному *решают одну задачу*. Какая будет эта методология и скоро ли она будет, мы не

422

знаем, но что психология не двинется дальше, пока не создаст методологии, что первым шагом вперед будет методология, это несомненно.

В сущности, основные камни заложены верно; верно намечен и общий, многодесятилетний путь; верна и цель, верен генеральный план. Даже практическая ориентировка в современных течениях верна, только не полна. Но ближайший путь, ближайшие шаги, деловой план страдают недочетами: в них нет анализа кризиса и верной установки на методологию. Работы Корнилова кладут начало этой методологии, и всякий, кто хочет развивать идеи психологии и марксизма, вынужден будет повторять его и продолжать его путь. Как путь эта идея не имеет себе равной по силе в европейской методологии. Если он не будет загибаться к критике и полемике, не будет переходить в путь брошюрной войны, а будет подниматься к методологии; если он не будет искать готовых ответов; если он осознает задачи современной психологии, он приведет к созданию теории психологического материализма.

Мы закончили наше исследование. Нашли ли мы все, что искали? Во всяком случае, мы у берега. Мы подготовили почву для изысканий в области психологии и, чтобы оправдать свои рассуждения, должны испытать наши выводы на деле, построить схему общей психологии. Но до того хотелось бы остановиться еще на одном моменте, имеющем, правда, больше стилистическое значение, чем принципиальное, но и стилистическое завершение какой-либо идеи не вовсе безразлично для ее полного выражения.

Мы рассекли надвое задачи и метод, область исследования и принцип нашей науки. Остается рассечь ее имя. Процессы разделения, наметившиеся в кризисе, сказались и в судьбе имени науки. Отдельные системы наполовину порвали со старым именем, употребляя собственное для обозначения всей области исследования. Так иногда говорят о бихевиоризме как науке о поведении, как синониме всей психологии, а не одного ее направления. Так говорят часто о психоанализе, реактологии. Другие системы порывают окончательно со старым именем, видя в нем следы мифологического происхождения. Такова рефлексология. Эта последняя подчеркивает, что она отказывается от традиции, строит на пустом и новом месте. Нельзя оспаривать, что известная доля истины заключена в таком взгляде, хотя надо очень механически и неисторически смотреть на науку, чтобы не понимать вовсе роли преемственности и традиции, даже при перевороте. Однако Уотсон, когда требует радикального разрыва со старой психологией, когда указывает на астрологию и алхимию, на опасность половинчатой психологии, отчасти прав.

423

Другие системы остаются пока *без* имени — такова система Павлова. Иногда он называет свою область физиологией, но озаглавив свой опыт изучением поведения и высшей нервной деятельности, оставил вопрос об имени открытым. В ранних работах Бехтерев — прямо отграничивается от физиологии, для Бехтерева рефлексология не физиология. Ученики Павлова излагают его учение под именем «науки о поведении». И действительно, у двух наук, столь разных, должны быть два разных имени. Эту идею давно высказал Мюнстерберг: «Следует ли называть психологией интенциональное понимание внутренней жизни, это, конечно, еще вопрос, по поводу которого можно спорить. В самом деле, многое говорит за то, чтобы удержать название психологии за *описательной* и *объяснительной* наукой, исключив из психологии науку о понимании духовных переживаний и внутренних отношений» (1922, с. 9).

Однако такое знание все же существует под именем психологии; оно редко находится в идее. По большей части она находится в каком-либо внешнем влиянии с элементами каузальной психологии (там же). Но так как мы знаем мнение того же автора, что вся путаница в психологии возникает из смешения, то единственный вывод — избрать другое имя для интенциональной психологии. Отчасти так оно и происходит. Феноменология на наших глазах выделяет из себя психологию, «необходимую для известных логических целей» (там же, с. 10), и вместо разделения двух наук посредством прилагательных, вносящих огромную путаницу <...>, начинает вводить разные имена существительные. Челпанов устанавливает, что «аналитический» и «феноменологический» — два имени для одного и того же метода, что феноменология в некоторой части покрывается аналитической психологией, что спор относительно того, есть ли феноменология психологии или нет, оказывается вопросом терминологическим; если к нему прибавить, что метод этот и эту часть психологии автор считает основным, то логично было бы назвать аналитическую психологию феноменологией. Сам Гуссерль предпочитает ограничиться прилагательным, чтобы сохранить чистоту своей науки, и говорит об «эйдетической психологии». Но Бинсвангер пишет прямо: надо различать между чистой феноменологией и эмпирической феноменологией («дескриптивной психологией») (1922, с. 135) и видит основание для этого в введенном самим Гуссерлем прилагательном «чистая». Знак равенства выведен на бумаге самым математическим образом. Если вспомнить, что Лотце говорил о психологии как прикладной математике; что Бергсон в своем определении почти приравнял опытную метафизику к психологии; что Гуссерль в чистой феноменологии хочет видеть метафизическое учение о сущностях (Бинсвангер, 1922), то мы поймем, что и сама идеалистическая психология имеет и традицию, и тенденцию к тому, чтобы оставить обветшавшее и скомпрометированное имя. И Дильтей разъясняет, что объяснительная пси-

424

хология восходит к рациональной психологии Вольфа, а описательная — к эмпирической (1924).

Правда, некоторые идеалисты возражают против присвоения естественнонаучной психологии этого имени. Так, С. Л. Франк, указывая со всей резкостью на то, что под одним именем живут две разные науки, пишет: «Дело тут вообще не в относительной учености двух разных *методов* одной науки, а в простом *вытеснении одной науки совсем другой*, хотя и сохранившей слабые следы родства с первой, но имеющей по существу совсем иной предмет... Нынешняя психология сама себя признает естествознанием... Это значит, что современная так называемая психология есть вообще не *психо-логия*, а *физио-логия*... Прекрасное обозначение «психология» — учение о душе — было просто незаконно похищено и использовано как титул для совсем иной научной области; оно похищено так основательно, что когда теперь размышляешь о природе души... то занимаешься делом, которому суждено оставаться безымянным или для которого надо придумать какое-нибудь новое обозначение» (1917, с. 3). Но даже нынешнее *искаженное* имя «психология» на три четверти не отвечает ее сути — это психофизика и психофизиология. И новую науку он пытается назвать философской психологией, чтобы «хоть косвенно восстановить истинное значение названия «психология» и вернуть его законному владельцу после упомянутого похищения, непосредственно уже неустраняемого» (там же, с. 19).

Мы видим примечательный факт: и рефлексология, стремящаяся порвать с «алхимией», и философия, которая хочет содействовать восстановлению прав *психологии* в старом, буквальном и точном значении этого слова, обе ищут нового обозначения и остаются безымянными. Еще примечательнее, что мотивы у них одинаковы: одни боятся в этом имени следов его материалистического происхождения, другие боятся, что оно утратило свое старое, буквальное и точное значение. Можно ли найти — стилистически — лучшее выражение для двойственности современной психологии? Однако и Франк согласен, что имя похищено естественнонаучной психологией неустранимо и основательно. И мы полагаем, что именно материалистическая ветвь должна называться психологией. За это и против радикализма рефлексологов говорят два важных соображения. Первое: именно она явится завершительницей

всех истинно научных тенденций, эпох, направлений и авторов, которые были представлены в истории нашей науки, т. е. она и *есть на самом деле по самому существу психология*. Второе: принимая это имя, новая психология нимало не «похищает» его, не искажает его смысла, не связывает себя теми мифологическими следами, которые в нем сохранились, а, напротив, сохраняет живое историческое напоминание обо всем своем пути, от самой исходной точки.

Начнем со второго.

425

Психологии как науке о душе, в смысле Франка, в точном и старом смысле этого слова, *нет*; это вынужден констатировать и он, когда с изумлением и почти с отчаянием убеждается, что такой литературы *вообще почти не существует*. Далее, эмпирической психологии как законченной науки *вообще не существует*. И по существу то, что происходит сейчас, есть не переворот, даже не реформа науки и не завершение в синтезе чужой реформы, а *осуществление* психологии и *высвобождение* в науке того, что способно расти, от того, что не способно к росту. Сама же эмпирическая психология (кстати, скоро исполнится 50 лет, как имя этой науки не употребляется вовсе, так как каждая школа прибавляет свое прилагательное) мертва, как кокон, оставленный умершей бабочкой, как яйцо, покинутое птенцом. «Называя психологию естественной наукой, мы хотим сказать,—говорит Джемс,— что она в настоящее время представляет просто совокупность отрывочных эмпирических данных; что в ее пределы отовсюду неудержимо вторгается философский критицизм и что коренные основы этой психологии, ее первичные данные должны быть обследованы с более широкой точки зрения и представлены в совершенно новом свете... Даже основные элементы и факторы в области душевных явлений не установлены с надлежащей точностью. Что представляет собой психология в данную минуту? Кучу сырого фактического материала, порядочную разногласицу во мнениях, ряд слабых попыток классификации и эмпирических обобщений чисто описательного характера, глубоко укоренившийся предрассудок, будто мы *обладаем* состояниями сознания, а мозг наш обуславливает их существование, но в психологии нет ни одного закона в том смысле, в каком мы употребляем это слово в области физических явлений, ни одного положения, из которого могли бы быть выведены следствия дедуктивным путем. Нам не известны даже те факторы, между которыми могли бы быть установлены отношения в виде элементарных психических актов. Короче, психология еще не наука, это нечто, обещающее в будущем стать наукой» (1911, с. 407).

Джемс дает блестящий инвентарь того, что мы получаем в наследство от психологии, опись ее имущества и состояния. Мы принимаем от нее кучу сырого материала и обещание стать в будущем наукой.

Что же связывает нас с мифологией через это имя? Психология, как физика до Галилея или химия до Лавуазье, еще не наука, которая может наложить хоть какую-нибудь тень на будущую науку. Но, может быть, с того времени, как Джемс писал это, обстоятельства существенно изменились? В 1923 г. на VIII конгрессе по экспериментальной психологии Ч. Спирмен повторил определение Джемса и сказал, что и сейчас психология не наука, а надежда на науку. Нужно обладать изрядной долей нижегородского провинциализма, чтобы изображать дело так, как Челпанов: будто

426

есть незыблемые, всеми признанные, веками испытанные истины и их ни с того ни с сего хотят разрушить.

Другое соображение еще серьезнее. В конце концов надо прямо сказать, что у психологии есть не два, а один наследник, и спор об имени не может и возникнуть серьезно. Вторая психология невозможна как наука. И надо сказать вместе с Павловым, что мы считаем позицию этой психологии с научной точки зрения безнадежной. Как настоящий ученый, Павлов ставит вопрос не так: существует ли психическая сторона, а так: как ее изучить. Он говорит: «Что должен делать физиолог с психическими явлениями? *Оставить их без внимания нельзя, потому что они теснейшим образом связаны с физиологическими явлениями, определяя целостную работу органа*. Если физиолог решается их изучать, то перед ним стоит вопрос:

как?» (1950, с. 59). Таким образом, мы при разделе не отказываемся в пользу другой стороны *ни от одного явления*; на нашем пути мы изучим все, что есть, и объясним все, что кажется. «Сколько тысячелетий человечество разрабатывает факты психологические... Миллионы страниц заняты изображением внутреннего мира человека, а результатов этого труда — законов душевной жизни человека — мы до сих пор не имеем» (там же, с. 105).

То, что останется после раздела, уйдет в область искусства; сочинителей романов и теперь Франк называет учителями психологии. Для Дильтея задача психологии — ловить в сети своих описаний то, что скрыто в Лире, Гамлете и Макбете, так как он видел в них «больше психологии, нежели во всех учебниках психологии, вместе взятых» (1924, с. 19). Штерн, правда, зло посмеялся над такой психологией, добываемой из романов; он говорил, что нарисованную корову нельзя доить. Но в опровержение его мысли и во исполнение мысли Дильтея на *деле* описательная психология все больше уходит в роман. Первый же конгресс индивидуальной психологии, которая считает себя именно этой второй психологией, заслушал доклад Оппенгейма, уловившего в сети понятий то, что Шекспир дал в образах, — точно то, чего хотел Дильтей. Вторая психология уйдет в метафизику, как бы она ни называлась. Именно уверенность в невозможности такого знания, *как наука*, обуславливает наш выбор.

Итак, у имени нашей науки только один наследник. Но, может быть, он должен отказаться от наследства? Нисколько. Мы диалектики; мы вовсе не думаем, что путь развития науки идет по прямой линии, и если на нем были зигзаги, возвраты, петли, то мы понимаем их *исторический* смысл и считаем их *необходимыми* звеньями в нашей цепи, неизбежными этапами нашей дороги, как капитализм есть неизбежный этап к социализму. Мы дорожили *каждым шагом к истине*, который когда-либо делала наша наука; мы не думаем, что наша наука началась с нами; мы не уступили никому ни идею

427

ассоциации Аристотеля, ни его и скептиков учение о субъективных иллюзиях ощущений, ни идею причинности Дж. Милля, ни идею психологической химии Дж. Милля, ни «утонченный материализм» Г. Спенсера, в котором Дильтей видел «не простую основу, а опасность» (В. Дильтей, 1924), — одним словом, всю ту линию материализма в психологии, которую с такой тщательностью отметают от себя идеалисты. Мы знаем, что они правы в одном: «Скрытый материализм объяснительной психологии... разлагающе влиял на политическую экономию, уголовное право, учение о государстве» (там же, с. 30).

Идея динамической и математической психологии Гербарта, труды Фехнера и Гельмгольца, идея И. Тэна о двигательной природе психики, как и учение Бине о психической позе или внутренней мимике, двигательная теория Рибо, периферическая теория эмоций Джемса — Ланге, даже учение вюрцбургской школы о мышлении, внимании как деятельности, — одним словом, каждый шаг к истине в нашей науке принадлежит нам. Ведь мы избрали из двух дорог одну не потому, что она нам нравится, но потому, что мы считаем ее истинной.

Следовательно, в этот путь вполне входит все, что было в психологии как в науке: сама попытка *научно* подойти к душе, усилие свободной мысли овладеть психикой, сколько бы она ни затемнялась и ни парализовалась мифологией, т. е. сама идея *научного* строения о душе содержит в себе весь будущий путь психологии, ибо наука и есть путь к истине, хотя бы ведущий через заблуждения. Но именно такой и дорога нам наша наука: в борьбе, преодолении ошибок, в невероятных затруднениях, нечеловеческой схватке с тысячелетними предрассудками. Мы не хотим быть Иванами, не помнящими родства; мы не страдаем манией величия, думая, что история начинается с нас; мы не хотим получить от истории чистенькое и плоское имя; мы хотим имя, на которое осела пыль веков. В этом мы видим наше историческое право, указание на нашу историческую роль, претензию на осуществление психологии как науки. Мы должны рассматривать себя в связи и в отношении с прежним; даже отрицая его, мы опираемся на него.

Могут сказать: имя это в буквальном смысле неприменимо к нашей науке сейчас, оно меняет значение с каждой эпохой. Но укажите хоть одно имя, одно слово, которое не переименовало своего значения. Когда мы говорим о синих чернилах или о летном искусстве, разве мы не допускаем логической ошибки? Зато мы верны другой логике — логике языка. Если геометр и сейчас называет свою науку именем, которое означает «землемерие», то психолог может обозначать свою науку именем, которое когда-то значило «учение о душе». Если сейчас понятие землемерия узко для геометрии, то когда-то оно было решающим шагом вперед, которому вся наука обязана своим существованием; если теперь идея души реакцион-

428

на, то когда-то она была первой научной гипотезой древнего человека, огромным завоеванием мысли, которому мы обязаны сейчас существованием нашей науки. У животных наверное нет идеи души и у них нет психологии. Мы понимаем исторически, что психология как наука должна была начаться с идеи души. Мы так же мало видим в этом просто невежество и ошибку, как не считаем рабство результатом плохого характера. Мы знаем, что наука как путь к истине непременно включает в себя в качестве необходимых моментов заблуждения, ошибки, предрассудки. Существенно для науки не то, что они есть, а то, что, будучи ошибками, они все же ведут к правде, что они преодолеваются. Поэтому мы принимаем имя нашей науки со всеми отложившимися в нем следами вековых заблуждений, как живое указание на их преодоление, как боевые рубцы от ран, как живое свидетельство истины, возникающей в невероятно сложной борьбе с ложью.

В сущности, так поступают все науки. Разве строители будущего все начинают сначала, разве они не являются завершителями и наследниками всего истинного в человеческом опыте, разве в прошлом у них нет союзников и предков? Пусть укажут нам хоть одно слово, хоть одно научное имя, которое можно применить в буквальном смысле. Или математика, философия, диалектика, метафизика означают то, что они означали когда-то? Пусть не говорят, что две ветви знания об одном объекте непременно должны носить одно имя. Пусть вспомнят логику и психологию мышления. Науки классифицируются и обозначаются не по объекту их изучения, а по принципам и целям изучения. Разве в философии марксизм не хочет знать своих предков? *Только неисторические и нетворческие умы* изобретательны на новые имена и науки: марксизму не к лицу такие идеи. Челпанов к делу приводит справку, что в эпоху французской революции термин «психология» был заменен термином «идеология», так как психология для той эпохи — наука о душе; идеология же — часть зоологии и делится на физиологическую и рациональную. Это верно, но какой неисчислимый вред происходит от такого неисторического словоупотребления, можно видеть из того, как часто трудно расшифровать и теперь отдельные места: об идеологии в текстах Маркса, как двусмысленно звучит этот термин и дает повод утверждать таким *«исследователям»*, как Челпанов, что для Маркса идеология и означала психологию. В этой терминологической реформе лежит *отчасти* причина того, что роль и значение старой психологии недооценена в истории нашей науки. И наконец, в ней живой разрыв с ее истинными потомками, она разрывает живую линию единства: Челпанов, который заявлял, будто психология не имеет ничего общего с физиологией, теперь клянется Великой революцией, что психология всегда была физиологической и что *«современная научная психология есть детище психологии французской революции»* (Г. И. Челпанов, 1924, с. 27). Только без-

429

границное невежество или расчет на *чужое невежество* могли продиктовать эти строки. Чья *современная психология*? Милля или Спенсера, Бэна и Рибо? Верно. Но Дильтея и Гуссерля, Бергсона и Джемса, Мюнстерберга и Стаута, Мейнонга и Липпса, Франка и *Челпанова*? Может ли быть большая неправда: ведь все эти строители новой психологии клали в *основу* науки другую систему, враждебную Миллю и Спенсеру, Бэну и Рибо, *те же имена*, которыми прикрывается Челпанов, третировали, «как мертвую собаку». Но Челпанов прикрывается

чужими для него и враждебными именами, спекулируя на двусмысленности термина «современная психология». Да, в современной психологии есть ветвь, которая может себя считать детищем революционной психологии, но Челпанов всю жизнь (и сейчас) только и делал, что стремился загнать эту ветвь в темный угол науки, отделить ее от психологии.

Но еще раз: как опасно общее имя и как неисторично поступили психологи Франции, которые изменили ему!

Это имя, введенное впервые в науку Гоклениусом, профессором в Марбурге, в 1590 г. и принятое его учеником Касманом (1594), а не Хр. Вольфом, т. е. с половины XVIII в., и не впервые у Меланхтона, как ошибочно принято думать, и сообщено у Ивановского как имя для обозначения части антропологии, которая вместе с соматологией образуют одну науку. Приписывание Меланхтону этого термина основывается на предисловии издателя к XIII тому его сочинений, в котором ошибочно указывается на Меланхтона как первого автора психологии. Имя это совершенно правильно оставил Ланге, автор психологии без души. Но разве психология не называется учением о душе? — спрашивает он. — Как же мыслима наука, которая оставляет под сомнением, имеется ли у нее вообще предмет для изучения? Однако он находил педантичным и непрактичным отбросить традиционное название, раз переменялся предмет науки, и призывал принять без колебания психологию без души.

Именно с реформы Ланге началась бесконечная канитель с именем психологии. Это имя, взятое само по себе, перестало что-либо означать: к нему надо было прибавлять всякий раз: «без души», «без всякой метафизики», «основанная на опыте», с «эмпирической точки зрения» и т. д. без конца. *Просто* психология перестала существовать. В этом была ошибка Ланге: приняв старое имя, он не завладел им *вполне, без остатка* — не разделил его, не отделил от традиции. Раз психология — без души, то с душой — уже не психология, а нечто другое. Но здесь, конечно, у него не хватило не доброй воли, а силы и срока: раздел еще не назрел.

Этот терминологический вопрос стоит и сейчас перед нами и входит в тему о разделе двух наук.

Как мы будем называть естественнонаучную психологию? Ее теперь называют часто объективной, новой, марксистской, научной,

430

наукой о поведении. Конечно, мы сохраним за ней имя психологии. Но какой? Чем мы отличим ее от всякой другой системы знаний, пользующейся тем же именем? Стоит только перечесть малую долю из тех определений, которые сейчас применяются к психологии, чтобы увидеть: в основе этих разделений нет логического единства; иной раз эпитет означает школу бихевиоризма, иной раз — гештальтпсихологию, иной раз — метод экспериментальной психологии, психоанализ; иной раз — принцип построения (эйдетическая, аналитическая, описательная, эмпирическая); иной раз — предмет науки (функциональная, структурная, актуальная, интенциональная); иной раз — область исследования (*Individual psychologia*); иной раз — мировоззрение (персонализм, марксизм, спиритуализм, материализм); иной раз — многое (субъективная — объективная, конструктивная — реконструктивная, физиологическая, биологическая, ассоциативная, диалектическая и еще и еще). Говорят еще об исторической и понимающей, объяснительной и интуитивной, научной (Блонский) и «научной» (в смысле естественнонаучной у идеалистов).

Что же означает после этого слово «психология»? «Скоро наступит время,— говорит Стаут,— когда никому не придет в голову писать книгу по психологии вообще, как не приходит в голову писать по математике вообще» (1923, с. 3). Все термины неустойчивы, логически не исключают один другой, не терминированы, путанны и темны, многосмысленны, случайны и указывают на вторичные признаки, что не только не облегчает ориентировку, но затрудняет ее. Вундт назвал свою психологию физиологической, а после раскаялся и считал это ошибкой, полагая, что ту же работу следует назвать экспериментальной. Вот лучшая иллюстрация того, как мало значат все эти термины. Для одних «экспериментальная» — синоним «научная», для других — лишь обозначение метода. Мы укажем только те употребительнейшие эпитеты, которые прилагаются к психологии, рассматриваемой в свете марксизма.

Я считаю нецелесообразным называть ее объективной. Челпанов справедливо указал, что термин этот в психологии употребляется в иностранной науке в самом разном смысле. И у нас он успел породить много двусмысленностей, способствовал путанице гносеологической и методологической проблемы о духе и материи. Термин помог путанице метода как технического приема и как способа познания, что имело следствием трактование диалектического метода наряду с анкетным как равно объективных, и убеждение, что в естествознании устранено всякое пользование субъективными показаниями, субъективными (в генезисе) понятиями и разделениями. Он часто вульгаризировался и приравнивался к истинному, а субъективный — к ложному (влияние обычного словоупотребления). Далее, он вообще не выражает сути дела: только в условном смысле и в одной части он выражает сущность реформы. Наконец, психо-

431

логия, которая хочет быть и учением о субъективном или хочет на своих путях разъяснить и субъективное, не должна ложно именовать себя объективной.

Неверно было бы называть нашу науку и психологией поведения. Не говоря уже о том, что, как и предыдущий эпитет, этот новый не разделяет нас с целым рядом направлений и, значит, не достигает своей цели, что он ложен, ибо новая психология хочет знать и психику, термин этот *обывательски житейский*, чем он и мог привлечь к себе американцев. Когда Дж. Уотсон говорит: «представление о личности в науке о поведении и в здравом смысле» (1926, с. 355) — и отождествляет то и другое, когда он ставит себе задачей создать науку, чтобы «обыкновенный человек», «подходя к науке о поведении, не чувствовал перемены метода или какого-либо изменения предмета» (там же, с. IX); науку, которая среди своих проблем занимается и следующей: «Почему Джордж Смит покинул свою жену» (там же, с. 5); науку, которая начинает с изложения житейских методов, которая не может сформулировать различия между ними и научными методами и видит *всю* разницу в изучении и тех случаев, житейски безразличных, не интересующих здравый смысл, — то термин «поведение» наиболее подходящ. Но если мы убедимся, как будет показано ниже, что он логически несостоятелен и не дает критерия, по которому можно отличить, почему перистальтика кишок, выделение мочи и воспаление должны быть исключены из науки; что он многосмыслен и нетерминирован и означает у Блонского и Павлова, у Уотсона и Коффки совершенно разные вещи, мы не колеблясь откинем его.

Неправильным, далее, я считал бы и определение психологии как марксистской. Я говорил уже о недопустимости излагать учебники с точки зрения диалектического материализма (В. Я. Струминский, 1923; К. Н. Корнилов, 1925); но и «очерк марксистской психологии», как в переводе озаглавил Рейснер книжку Джемсона, я считаю неверным словоупотреблением; даже такие словосочетания, как «рефлексология и марксизм», когда речь идет об отдельных деловых течениях внутри физиологии, я считаю неправильными и рискованными. Не потому, чтобы я сомневался в возможности такой оценки, а потому, что берутся несоизмеримые величины, потому что выпадают посредующие члены, которые только и делают такую оценку возможной; утрачивается и искажается масштаб. Автор ведь судит *всю* рефлексологию не с точки зрения *всего* марксизма, а отдельных высказываний группы марксистов-психологов. Было бы неверно, например, ставить проблему: волсовет и марксизм, хотя несомненно, что в теории марксизма есть не меньше ресурсов для освещения вопроса о волсовете, чем о рефлексологии; хотя волсовет есть непосредственно марксистская идея, логически связанная со всем целым. И все же мы употребляем другие масштабы, пользуемся посредствующими, более конкретными

432

и менее универсальными понятиями: мы говорим о Советской власти и волсовете, о диктатуре пролетариата и волсовете, о классовой борьбе и волсовете. Не все то, что связано с марксизмом, следует называть марксистским; часто это должно подразумеваться само собой. Если прибавить к этому, что психологи в марксизме обычно апеллируют к диалектическому материализму, т. е. к самой универсальной и обобщенной его части, то несоответствие масштаба станет еще яснее.

Наконец, особенная трудность приложения марксизма к новым областям: нынешнее конкретное состояние этой теории; огромная ответственность в употреблении этого термина; политическая и идеологическая спекуляция на нем — все это не позволяет хорошему вкусу сказать сейчас: «*марксистская психология*». Пусть лучше другие скажут о нашей психологии, что она марксистская, чем нам самим называть ее так; применим ее на деле и повременим на словах. В конце концов марксистской психологии *еще нет*, ее надо понимать как историческую задачу, но не как данное. А при современном положении вещей трудно отделаться от впечатления научной несерьезности и безответственности при этом имени.

Против этого говорит еще то обстоятельство, что синтез психологии и марксизма осуществляется не одной школой и имя это в Европе легко дает повод для путаницы. Едва ли многие знают, что индивидуальная психология Адлера соединяет себя с марксизмом. Чтобы понять, что это за психология, следует вспомнить ее методологические основы. Когда она доказывала свое право на то, чтобы быть наукой, она ссылалась на Риккерта, который говорит, что слово «психолог» в применении к естественнику и историку имеет два различных смысла, и потому различает естественнонаучную и историческую психологию; если, этого не сделают, тогда психологию историка и поэта нельзя называть психологией, потому что она ничего общего не имеет с психологией. И теоретики новой школы принимали, что историческая психология Риккерта и индивидуальная психология — одно и то же (Л. Бинсвангер, 1922).

Психология разделилась надвое, и спор идет только об имени и теоретической, возможности новой самостоятельной ветви. Психология невозможна как естественная наука, индивидуальное не может быть подведено ни под какой закон; она хочет не объяснять, а понимать (там же). Это разделение в психологию ввел К. Ясперс, но под понимающей психологией он имел в виду феноменологию Гуссерля. Как основа всякой психологии она очень важна, даже незаменима, но она сама не есть и не хочет быть индивидуальной психологией. Понимающая психология может исходить лишь из телеологии. Штерн обосновал такую психологию; персонализм — лишь другое имя для понимающей психологии, но он пытается средствами экспериментальной психологии, естественных наук в дифференциальной психологии изучить личность: объяснение и по-

433

нимание одинаково остаются неудовлетворенными. Только интуиция, а не дискурсивно-каузальное мышление может привести к цели. Титул «философия «я» она считает для себя почетным. Она вовсе не психология, а философия и такой хочет быть. Так вот *такая* психология, относительно природы которой не может быть никакого сомнения, ссылается в своих построениях, например в теории массовой психологии, на марксизм, на теорию базиса — надстройки как на естественный свой фундамент (В. Штерн, 1924). Она дала лучший и до сих пор самый интересный в *социальной* психологии проект синтеза марксизма и индивидуальной психологии в теории классовой борьбы: марксизм и индивидуальная психология должны и призваны углубить и оплодотворить друг друга. Гегелевская триада применима к душевной жизни, как и к хозяйству (совсем как у нас). Проект этот вызвал интересную полемику, которая показала в защите этой мысли здоровый, критический и вполне марксистский — в ряде вопросов — подход. Если Маркс научил нас понимать экономические основы классовой борьбы, то Адлер сделал то же для ее психологических основ.

Это не только иллюстрирует всю сложность современного положения в психологии, где возможны самые неожиданные и парадоксальные сочетания, но и опасность данного эпитета (кстати, еще из парадоксов: эта же психология оспаривает у русской рефлексологии право на теорию относительности). Если марксистской психологией называют эклектическую и беспринципную, легковесную и полунучную теорию Джемсона, если большинство влиятельных гештальтпсихологов считают себя марксистами и в научной работе, то имя это теряет определенность применительно к начинающим психологическим школам, еще не завоевавшим права на «марксизм». Я, помню, был крайне удивлен, когда в мирном разговоре узнал об этом. С одним из образованнейших психологов был у меня такой разговор: «Какой психологией занимаетесь вы в России? То, что вы марксисты, ничего еще не говорит о том, какие вы

психологи. Зная популярность Фрейда в России, я сначала было подумал об адле-рианцах: ведь они тоже марксисты, но у вас — совсем другая психология? Мы тоже социал-демократы и марксисты, но мы также дарвинисты и еще коперникианцы». В том, что он был прав, убеждает меня одно, на мой взгляд, решающее соображение. Ведь мы в самом деле не станем называть «дарвинистской» нашу биологию. Это как бы включается в самое понятие *науки*: в нее входит признание величайших концепций. Марксист-историк никогда не назвал бы: «марксистская история России». Он считал бы, что это видно из самого дела. «Марксистская» для него синоним: «истинная, научная»; иной *истории*, кроме марксистской, он и не признает. И для нас дело должно обстоять так: наша наука в такой мере будет становиться марксистской, в какой мере она будет становиться истинной, научной; и именно над превращением ее в истинную, а не над

434

согласованием ее с теорией Маркса мы будем работать. По самому смыслу слова и по существу дела мы не можем говорить: «марксистская психология» в том смысле, в каком говорят: ассоциативная, экспериментальная, эмпирическая, эйдетическая психология. Марксистская психология есть не школа среди школ, а единственная истинная психология как наука; другой психологии, кроме этой, не может быть. И обратно: *все*, что было и есть в психологии истинно научного, входит в марксистскую психологию: это понятие шире, чем понятие школы или даже направления. Оно совпадает с понятием *научной* психологии вообще, где бы и кем бы она ни разрабатывалась.

В этом смысле Блонский (1921) употребляет термин «научная психология». И он вполне прав. То, что мы хотели сделать, смысл нашей реформы, суть нашего расхождения с эмпириками, основной характер нашей науки, наша цель и объем нашей задачи, ее содержание и метод выполнения — все выражает этот эпитет. Он бы вполне удовлетворил меня, если бы он не был не нужен. Выраженный в наиболее верной форме, он обнаружил ясно: он не может ничего ровно выразить по сравнению с тем, что содержится в самом определяемом слове. Ведь «психология» и есть название *науки*, а не театральной пьесы или кинофильма. Она только и может быть научной. Никому не придет в голову назвать описание неба в романе астрономией; так же мало подходит имя «психология» для описания мыслей Раскольникова и бреда леди Макбет. Все, что ненаучно описывает психику, есть не психология, а нечто другое — все, что угодно: реклама, рецензия, хроника, беллетристика, лирика, философия, обывательщина, сплетня и еще тысяча разных вещей. Ведь эпитет «научная» приложим не только к очерку Блонского, но и к исследованиям памяти Мюллера, и к опытам над обезьянами Келера, и к учению о порогах Вебера-Фехнера, и к теории игры Грооса, и к учению о дрессировке Торндайка, и к теории ассоциации Аристотеля, т. е. ко *всему* в истории и современности, что принадлежит науке. Я взялся бы спорить, что заведомо ложные, опровергнутые и сомнительные теории, гипотезы и построения тоже могут быть научны, ибо научность не совпадает с достоверностью. Билет в театр может быть абсолютно достоверен и ненаучен; теория Гербарта о чувствах как отношениях между представлениями безусловно неверна, но столь же безусловно научна. Цель и средства определяют научность какой-нибудь теории, и только. Поэтому сказать: «научная психология» — все равно, что ничего не сказать, вернее, просто сказать: «психология».

Нам и остается принять это имя. Оно прекрасно подчеркнет то, что мы хотим, — объем и содержание нашей задачи. А она ведь не в создании школы рядом с другими школами; она охватывает не какую-нибудь часть или сторону, или проблему, или способ истолкования психологии, наряду с другими аналогичными частями, шко-

435

лами и т. п. Речь идет обо *всей* психологии, во *всем* ее объеме; о единственной психологии, не допускающей никакой другой; речь идет об осуществлении психологии как науки.

Поэтому будем говорить просто: психология. Будем лучше пояснять эпитетами другие направления и школы и отделять в них научное от ненаучного, психологию от эмпиризма, от теологии, от эйдоса и еще от всего, что налипло на нашей науке за века ее существования, как на борту корабля дальнего плавания.

Эпитеты понадобятся нам для другого: для систематического, *выдержанно-логического, методологического разделения* дисциплин внутри психологии: так, мы будем говорить об общей и детской, зоо- и патопсихологии, дифференциальной и сравнительной. Психология же будет общим именем целой семьи наук. Ведь наша задача вовсе не в том, чтобы *выделить* свою работу из общей психологической работы в прошлом, но в том, чтобы *объединить* свою работу со всей научной разработкой психологии в одно целое на некоей новой основе. Выделить же мы хотим не свою школу из науки, а науку — из ненауки, психологию — из непсихологии. Этой психологии, о которой мы говорим, еще нет; ее предстоит создать — не одной школе. Много поколений психологов потрутся над этим, как говорил Джемс; у психологии *будут* свои гении и свои рядовые исследователи; но то, что возникнет из совместной работы поколений, гениев и простых мастеров науки, будет именно психологией. С этим именем войдет наша наука в новое общество, в преддверии которого она начинает оформляться. Наша наука не могла и не может развиваться в старом обществе. Овладеть правдой о личности и самой личностью нельзя, пока человечество не овладело правдой об обществе и самим обществом. Напротив, в новом обществе наша наука станет в центре жизни. «Прыжок из царства необходимости в царство свободы» неизбежно поставит на очередь вопрос об овладении нашим собственным существом, о подчинении его себе. В этом смысле прав Павлов, называя нашу науку последней наукой о самом человеке. Она действительно будет последней в исторический период человечества наукой или в предыстории человечества. Новое общество создаст нового человека. Когда говорят о переплавке человека, как о несомненной черте нового человечества, и об искусственном создании нового биологического типа, то это будет единственный и первый вид в биологии, который создаст себя сам...

В будущем обществе психология действительно будет наукой о новом человеке. Без этого перспектива марксизма и истории науки была бы не полна. Но и эта наука о новом человеке будет все же психологией; мы теперь держим у себя в руках нить от нее. Нужды нет, что эта психология будет так же мало походить на нынешнюю, как — по словам Спинозы — созвездие Пса походит на собаку, лающее животное (Этика, *теорема 17*, Схолия).